Византийская грамота Марьи
Павел Булкин

Павел Булкин

Византийская грамота Марьи

«Автор»
2026

Булкин П.

Византийская грамота Марьи / П. Булкин — «Автор», 2026

Марья - дочь смоленского дружинника, два года просидевшая в сыром скриптории за подсчётом чужих денег. Однажды она бежит из дома, чтобы увидеть Царьград - город, о котором грезила с детства. Путь по Днепру становится для неё первым испытанием, но настоящая школа начинается в Константинополе. Здесь, среди шумных рынков и многолюдного ипподрома, она встречает наставника, чья мудрость древнее самого города. Он учит её видеть то, что скрыто от глаз: нити, связывающие цены и страсти, власть и толпу, честность и обман.Это роман о взрослении, свободе и знании, которое тяжелее золота. О девушке, которая искала в небе неподвижную звезду - ту самую, что остаётся неизменной, пока всё вокруг движется. Найдя её не только на небосводе, но и внутри себя, она возвращается домой, чтобы изменить свой мир.

© Булкин П., 2026
© Автор, 2026

Павел Булкин
Византийская грамота Марьи

I

Перо скрипело по бересте, и этот звук был единственным, что держало Марью в сознании. Без него она, верно, уснула бы — или сбежала. Скрипторий при церкви Святого Климента располагался в подклети, и потолок давил так низко, что рослый мужчина задел бы его макушкой. Два узких оконца под самым сводом пропускали ровно столько света, чтобы различить буквы, но недостаточно, чтобы понять, какое время дня снаружи. Пахло воском, пергаментом и кислыми чернилами — запах, который Марья давно перестала замечать, как перестают замеччать собственное дыхание. Он въелся в кожу, в волосы, в льняную рубаху, и даже мать, обнимая её вечером, морщила нос: «Опять от тебя, как от монашки».

Смоленск в ту пору был городом деревянным, крепким и шумным. Стоял он на высоком берегу Днепра, там, где река делала широкую излучину, и с холмистого вала открывался вид на заливные луга, на заречные леса, на бесконечную ленту воды, уходящую к югу. Город рос быстро, как дерево на плодородной земле: кривичи, основавшие его, выбрали место с толком — на великом пути «из варяг в греки», на перекрёстке торговых дорог, где сходились купцы из Новгорода и Киева, из варяжских земель и с далёкого греческого юга. На торговой стороне, внизу у реки, с весны до глубокой осени не смолкал гул: там разгружали ладьи, торговали мехами, воском и мёдом, менялись серебром и слухами. В верхнем городе, за дубовым тыном с башнями, стояли дворы посадника и старших бояр, клети с запасами на случай осады, а над всем этим возвышалась деревянная церковь с крестом, который в ясную погоду поблёскивал далеко за рекой. Дома теснились друг к другу, крытые дранкой или берестой, и улицы между ними были узкие, мощённые где плахами, где просто утоптанной глиной. В дождь глина превращалась в жижу, и мальчишки бегали по ней босиком, а степенные купцы ругались, вытаскивая сапоги из грязи. Пахло дымом — всегда, в любое время года: печи топились с утра, и дым стелился над крышами сизой пеленой, смешиваясь с речным туманом. Город жил, дышал, торговал, строился — и верил, что будет стоять вечно.

Скрипторий при церкви Святого Климента был невелик, но слава о нём шла далеко — до самого Киева. Мать Феодосия, игуменья при церковном подворье, слыла женщиной умной и жёсткой. Она вела счёт десятине, собираемой с окрестных погостов, и князь смоленский доверял ей эту работу, потому что знал: игуменья не украдёт и не ошибётся. Писцов она подбирала сама — строго, придирчиво, как купец выбирает товар на торгу.

Кроме Марьи, в подклети работали ещё четверо. Старший — Нестор, бывший дьякон, мужик лет пятидесяти с обвисшими щеками и жёлтыми от чернил пальцами. Когда-то он переписывал Псалтирь для самого киевского митрополита, и буквы его были так хороши, что ими любовались, как иконописью. Но годы и свечной огонь сделали своё: глаза у Нестора ослабли. Он щурился всё сильнее, подносил бересту к самому носу, наклонялся над столом так низко, что борода мела по строчкам. Правый глаз уже почти не видел — бельмо затянуло зрачок мутной плёнкой, словно подёрнутая льдом лужа. Левым он ещё различал буквы, но только при хорошем свете, а свет в подклети был хорошим от силы три часа в день. Мать Феодосия держала его не за зоркость, а за опыт: Нестор знал наизусть все погостные записи за десять лет, помнил, сколько гривен должен был платить каждый двор, и мог учуять ошибку в столбце

цифр, даже не разбирая их глазами, — по ритму, по длине строки, по тому, как перо звучало на бересте. «Ухом считаю», — говорил он без улыбки, и непонятно было, шутит он или нет.

Трое мальчишек — поповские сыновья — сидели за отдельным столом, у дальней стены. Рыжий Онфим, сын дьякона от Ильинской церкви, был среди них старшим: ему шёл пятнадцатый год, и он уже мнил себя настоящим писцом. Почерк у него был размашистый, буквы крупные, с лихими завитками, которые Нестор называл «петушиными хвостами» и велел переделывать. Онфим злился, краснел до корней своих рыжих волос, но переделывал — молча, стиснув зубы. На Марью он поглядывал с плохо скрытой завистью: как это так — девка, а считает лучше него, и игуменья поручает ей итоговые цифры, а ему — черновую переписку. Иногда, когда мать Феодосия выходила, Онфим бросал через подклеть: «Эй, счётная, а посуду мыть тебя не учили?» Марья не отвечала. Не потому, что не могла, а потому, что любой ответ был бы потерей времени, а время в скриптории стоило дорого.

Второй мальчишка — Тимоха, годом младше Онфима, — был его полной противоположностью: тихий, старательный, с круглым испуганным лицом, будто ожидал подзатыльника от самой жизни. Тимоха был сыном священника, и отец отдал его в скрипторий не по призванию, а по нужде: семья была большая, ртов много, а лишний грамотный в доме — лишняя возможность прокормиться. Тимоха писал медленно, осторожно, как ходят по тонкому льду, и ошибок почти не делал, но и быстроты от него ждать не приходилось. Он один из всех относился к Марье без зависти и без удивления — просто принимал как данность, что кто-то считает лучше него, как принимал дождь и ветер.

Третий — Данилка — был совсем мал, лет двенадцати, и в скриптории появился недавно: мать Феодосия взяла его на пробу, потому что мальчишка отличался цепкой памятью и мог запомнить текст с одного прочтения. Но почерк у него был пока никудышный, и Нестор заставлял его каждое утро исписывать целый лист одними только буквами «аз» и «буки», пока рука не привыкнет. Данилка не роптал — он был счастлив уже тем, что сидит в тепле, а не таскает воду или пасёт чужих коз на выгоне.

Иерархия в подклети была проста и неумолима, как ступени лестницы. Мать Феодосия — наверху, невидимая и вездесущая, как Бог за облаками. Нестор — её правая рука, наставник, надзиратель, живая память скриптория. Марья — особняком: не в подчинении у Нестора, но и не равная ему, а что-то странное, непонятное, раздражающее — девка, которую игуменья приблизила за умение считать. Мальчишки — внизу, на побегушках, в черновой работе. Между ними — тонкие нити обид, зависти и молчаливого признания, которые натягивались и слабели, как струны на гуслях, в зависимости от настроения игуменьи и объёма работы.

Марья макнула перо в чернильницу — осторожно, ровно на четверть пальца, как учила мать Феодосия, — и вывела очередную цифру. Семнадцать гривен, четыре куны. Десятина с торга у пристани за месяц серпень. Она не сверялась с записями, потому что помнила их наизусть: два года без единой ошибки сделали из неё что-то вроде живых счётов, которые игуменья доставала по надобности и убирала обратно в подклеть. Нестор однажды сказал ей — негромко, чтобы мальчишки не слышали: «У тебя дар, девка. Не знаю, от Бога или от лукавого, но числа сами к тебе идут, как рыба в верши». Марья промолчала. Она не думала о даре. Она думала о том, что цифры — это единственное, что принадлежит ей в этой подклети. Единственное, в чём она не просто хороша, а лучше всех. И от этого было одновременно гордо и тошно — потому что к чему эта гордость? К чему быть лучшей среди тех, кто считает чужие деньги в чужом подвале?

Марья дописала строку и подняла голову. В правом оконце виднелся клочок неба — серый, плотный, как немытая шерсть. Где-то там, за этим клочком, за крышами посада, за крепостным валом, за заречными лесами и бескрайней степью, лежал Днепр — не здешний, узкий ещё, молодой, а тот, нижний, широкий, вольный, несущий ладьи к морю. А за морем — Царьград.

Царьград. При этом слове что-то поворачивалось в груди — медленно, тяжело, как поворачивается жёрнов. Марья закрыла глаза, и подклеть исчезла, и запах чернил отступил, и вместо него пришёл другой — запах речной воды, мокрой травы и костра. Ей было шесть лет. Отец — ещё не хромой, ещё не молчаливый, ещё крепкий, широкоплечий, с рыжеватой бородой и смеющимися глазами — привёл её на берег Днепра, туда, где река выходила из-за поворота и разливалась широко, лениво, блестя на вечернем солнце. Это было летом, в самый долгий день, когда закат тянется часами и небо не темнеет до конца, а только меняет цвет — от золотого к медному, от медного к лиловому.

Отец сел на траву у самой воды, усадил Марью к себе на колени и показал рукой вниз по течению:

— Гляди, дочка. Видишь, как река идёт? Вон туда, на полдень. Она не кончается здесь, у Смоленска. Она идёт далеко-далеко — через леса, через степи, мимо городов, которых ты не знаешь. Через пороги — страшные камни в воде, где река ревёт, как зверь. А потом — в море. А за морем стоит город. Самый большой город на свете. Царьград.

— Какой он? — Марья прижалась щекой к его груди.

Отец помолчал. Посмотрел на воду, щурясь, — и глаза его стали далёкими, словно он сам видел то, о чём рассказывал.

— Каменный. — Голос стал тише, глуше. — Весь из камня — стены, дома, церкви. Церкви там такие огромные, что внутри можно поставить нашу церковь пять раз, и ещё место останется. А купола золотые — настоящим золотом крыты, и на солнце горят так, что глазам больно. — Он помолчал, перевёл дыхание. — И люди там — другие. Говорят не по-нашему, одеваются в шелка, едят с серебряных блюд. И книги у них — не берестяные, а на тонкой телячьей коже, и буквы в тех книгах рисованы золотом и синей краской, которую делают из камней, привезённых с края земли.

— Ты там бывал?

Отец покачал головой.

— Нет. Не довелось. Но Варяжко бывал — брат матери твоей. Он рассказывал. И дед мой бывал — ещё при старом князе, ходил с дружиной. И вернулся живой, с серебром, с рассказами. Говорил — кто не видел Царьграда, тот не видел мира.

Марья молчала, прижимаясь спиной к отцовской груди. Река блестела. Где-то на том берегу кричала птица — протяжно, жалобно, будто звала кого-то, кто не вернётся.

— А звёзды? — вырвалось вдруг. — Там другие звёзды?

Отец рассмеялся — тихо, в бороду.

— Звёзды, дочка, везде одни. Вон, гляди — скоро выйдут. Видишь, небо уже темнеет? Ты подожди. Вон та звезда — первая, самая яркая, — видишь? Это вечерница. Она всегда зажигается первой. А вон там, — рука протянулась к северу, — скоро появится другая. Небесный Кол. Она не двигается — стоит на месте, а все остальные вокруг неё ходят. Кормчие по ней путь находят, когда ночью плывут. Без неё — заблудишься.

— А до Царьграда по ней можно дойти?

Отец снова помолчал. Когда заговорил — тише, серьёзнее, — Марья почувствовала, как его рука крепче сжала её плечо:

— Можно. По ней найдёшь север, а от севера — все остальные стороны. Главное — смотреть вверх, когда вокруг темно. Главное — не забывать, что звёзды есть, даже когда их не видно за облаками.

Потом они долго сидели молча. Звёзды выходили одна за другой — сначала робко, по одной, потом горстями, россыпями, — и небо стало глубоким, бездонным, страшным и прекрасным. Отец обнимал её, и от него пахло кожей, железом и домом, и Марье было тепло, и мир был огромным, и жизнь была бесконечной, и Царьград — близким, как противоположный берег реки.

Ей было шесть. Потом ей стало восемь, и дядя Варяжко взял её с собой на берег ниже города, где он стоял лагерем, готовясь к отплытию вниз по Днепру. Там, на речной косе, она увидела небо целиком — от края до края. И звёзды. Господи, какие звёзды. Они не мерцали, как лампады в церкви, — они горели, яростно и ровно, словно кто-то рассыпал по чёрному бархату горячие угли. Дядя сидел у костра, чинил уключину и говорил негромко, ни к кому не обращаясь: «В Царьграде звёзды другие. Крупнее. И небо там — как перевёрнутая чаша, расписанная золотом». Марья слушала и верила каждому слову. Ей было восемь лет, и мир был бесконечным. И она вспомнила отцовские слова — «звёзды везде одни» — и подумала: а может, дядя ошибается. А может, отец. А может, надо поехать и увидеть самой, и тогда станет ясно, кто прав. Но ей было восемь, и ехать было некуда, и вопрос остался без ответа — повис в ночном воздухе, как дым от костра.

Потом отец ушёл с обозом в дальний поход — нет, это было раньше, ещё до того вечера на косе, — сопровождать княжеский караван по Днепру на юг. Вернулся он другим человеком: хромым, молчаливым, со шрамом через всё лицо и пустым взглядом. Печенеги напали на обоз у днепровских порогов — тех самых, через которые дядя Варяжко водил свои ладьи. Отец выжил, но левая нога перестала сгибаться, и работать, как прежде, он больше не мог. Мать приняла его молча, без слёз, только постарела за одну неделю на десять лет. Они перебрались из посада в верхний город, ближе к княжескому двору, где мать нашла работу при поварне, а отец — худо-бедно — помогал при конюшне, сколько позволяла искалеченная нога. Марью, благо грамотную, пристроили в скрипторий. «Хлебное место», — говорила мать. «Под крышей, при деле, в тепле». Два года Марья сидела под низким потолком и считала чужие деньги, а отец сидел у конюшни, глядел на реку и молчал. Иногда, засыпая, Марья вспоминала его голос — тот, прежний, тёплый, густой, каким он говорил: «Главное — смотреть вверх, когда вокруг темно». И сжимала кулаки под одеялом, потому что темно было — здесь, сейчас, каждый день.

Скрип двери заставил всех выпрямиться. Нестор поднял голову от стола и заморгал бельмастым глазом. Онфим торопливо спрятал под берестой щепку, которой ковырял в зубах. Тимоха и без того сидел прямо — он всегда сидел прямо, как гвоздь в доске. Данилка замер с пером в руке, забыв дописать «буки».

Мать Феодосия вошла стремительно, как всегда — словно за ней гнались. Высокая, сухая, в чёрном платке, из-под которого выглядывал острый подбородок. Глаза у игуменьи были цвета зимнего неба, и смотрела она так, будто видела не только буквы на бересте, но и мысли в голове писца. Шаг у неё был быстрый, решительный, и подол чёрного платья шуршал по полу, как шуршит ветер в сухом камыше.

Но было в ней и другое — то, что замечали лишь внимательные. Иногда, отдав распоряжения и проверив записи, мать Феодосия задерживалась у оконца. Стояла, глядя на тот самый клочок неба, и пальцы её перебирали чётки — быстро, нервно, словно считали не молитвы,

а что-то иное. Однажды, много месяцев назад, когда Марья задержалась допоздна, проверяя расчёты, игуменья вернулась в подклеть за забытым свитком и нашла Марью одну, при свече. Они разговорились — впервые не о цифрах. Мать Феодосия рассказала, что в молодости — давно, ещё до пострига — она мечтала уехать в Киев. Не в монастырь — просто в Киев, увидеть Софию, Золотые ворота, торг на Подоле. «Мне казалось, — голос её стал другим, глуше, мягче, и глаза смотрели мимо Марьи, мимо свечи, мимо стен, — что там, за стенами этого города, жизнь другая. Настоящая. А здесь — только подготовка к ней». Марья спросила: «И что?» Игуменья помолчала. Потом: «Не поехала. Побоялась. Мать была больна, брат мал, хозяйство — на мне. А потом стало поздно. Всегда становится поздно, если ждёшь достаточно долго». Быстрый, острый взгляд — и два слова, которые упали в тишину, как камни в колодец: «Не жди». Больше они об этом не говорили. Но Марья помнила. Помнила и сейчас, глядя, как игуменья стоит посреди подклети — прямая, жёсткая, непреклонная, — и думала: вот что бывает, когда ждёшь. Вот во что превращается мечта, если её не пустить на волю. Она не становится тише — она каменеет. И человек каменеет вместе с ней.

— Князь требует полную роспись десятины за прошлый год, — без приветствия, без предисловия. — По всем погостам. Срок — три дня.

Нестор крякнул. Мальчишки переглянулись. Три дня — на работу, которой хватило бы на десять. Онфим тихо присвистнул и тут же получил от Нестора тяжёлый взгляд — старик не повернул головы, но его бельмастый правый глаз, казалось, видел всё, даже то, что ему не полагалось видеть.

— Маловато будет, матушка, — пробасил Нестор. — Погостных записей за год — больше сорока листов. Переписать набело, свести, проверить…

— Я знаю, сколько листов. — Голос отрезал, как нож. — Князь не спрашивал моего совета. Он приказал. Мы исполним.

Игуменья повернулась к Марье:

— Итоговые цифры на тебе. Ты считаешь вернее всех. Не подведи. Остальным — переписывать погостные записи набело. Нестор, ты проверяешь черновики. Кто допустит помарку — пусть пеняет на себя.

На стол легла стопка берестяных листов — толстая, тяжёлая, как надгробие. Игуменья вышла, не дожидаясь ответа. Дверь закрылась с глухим стуком, и в подклети повисла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием лампады.

— Три дня, — Онфим произнёс в тишину. — Три дня. Спина отвалится.

— Спина не отвалится, — буркнул Нестор. — А вот язык — может. Молчи и работай.

Данилка посмотрел на стопку, потом на Марью, потом снова на стопку — и в круглых его глазах было написано что-то среднее между ужасом и восторгом.

Марья посмотрела на стопку. Потом на оконце. Клочок неба стал чуть светлее — или ей показалось. Она взяла верхний лист и начала читать. Цифры плясали перед глазами: куны, гривны, ногаты, резаны. Чужие деньги. Чужая жизнь. Чужой город, в котором она задыхалась, хоть и родилась здесь, хоть и знала каждую улочку, каждый переулок, каждый скрип калитки. Смоленск был ей домом — и клеткой.

Она сделала это на второй день.

Не сразу. Сначала считала честно, как привыкла, — быстро, точно, без помарок. Пальцы двигались привычно, перо бегало по бересте, и цифры выстраивались ровными столбцами, как воины в строю. Рядом скрипели перья мальчишек, покашливал Нестор, за стеной лаяла собака. Обычный день, каких было два года — семьсот с лишним дней, неотличимых друг от друга, как зёрна в мешке.

Но к вечеру, когда лампады начали коптить, а спина ныла так, что хотелось выть, она вдруг остановилась.

Перо замерло над берестой.

Итоговая сумма за посадский торг: сто двенадцать гривен, шесть кун. Марья посмотрела на цифру. Долго — так долго, что буквы начали расплываться перед глазами, теряя очертания, превращаясь из знаков в бессмысленные завитки. Сто двенадцать гривен. Правильная цифра. Верная. Проверенная трижды. Она могла положить этот лист в стопку и взять следующий. Могла дописать строку, размять затёкшую спину, глотнуть воды из кувшина в углу и продолжить. Могла сделать то, что делала семьсот с лишним дней — то, что от неё ожидали, то, за что хвалили, то, чем мать гордилась перед соседками: «Моя-то при деле, у самой игуменьи».

Подклеть была пуста. Нестор ушёл — его слепнущие глаза не выдерживали работы при лампаде, и он обычно уходил засветло. Мальчишки тоже разошлись: Онфим убежал первым, за ним — Данилка, потом Тимоха, тихо и незаметно, как всегда. Марья была одна. Лампада потрескивала, бросая на стены жёлтые тени. За стеной — тишина: вечерня отошла, город затих. Где-то далеко — может быть, на посаде, а может, за рекой — затявкала собака.

Взгляд вернулся к бересте. Сто двенадцать гривен, шесть кун. Перо лежало в правой руке — привычно, удобно, как часть ладони. Чернильное пятно на среднем пальце — старое, въевшееся — темнело в свете лампады.

Она подумала: а что, если?

Мысль была простая, ясная и страшная — как бывает страшна ясность. Не «зачем?» и не «для чего?», а именно — «а что, если?». Что будет, если она изменит одну цифру? Единицу — на двойку. Сто двенадцать — на сто двадцать две. Десять гривен разницы. Десять гривен, которых не существует. Которые не лежат ни в чьём кошеле, не звенят ни на чьём поясе. Призрачные деньги, рождённые одним движением пера.

Рука дрогнула. Марья заметила это и разозлилась — на себя, на свою руку, на свой страх. Она положила перо на стол и сжала пальцы в кулак. Разжала. Снова сжала. Пальцы слушались — крепкие, привычные к перу, к счёту, к ровным строчкам. Но где-то внутри, в груди, в том месте, где, как говорят, живёт душа, что-то тряслось — мелко, противно, как лихорадка.

Она подумала об игуменье. О её «не жди». О её глазах у оконца — зимних, бесцветных, смотрящих на клочок неба, которого ей было мало, но которым она довольствовалась всю жизнь. Подумала о Несторе — о его бельме, о его пальцах, жёлтых от чернил, о том, как он слепнет, считая чужие деньги в чужом подвале, и даже не жалуется, потому что жаловаться некому. Подумала о мальчишках — об Онфиме, который свистит и злится, но останется здесь на десять лет, и на двадцать, и будет, как Нестор, считать ухом, когда глаза откажут. Подумала о матери, о тесте, о лучине, о словах «хлебное место».

Подумала об отце. О его голосе — том, прежнем, которого больше нет: «Главное — смотреть вверх, когда вокруг темно».

Темно. В подклети было темно. За оконцем — темно. В её жизни, растянутой, как береста, между этим столом и домом, между цифрами и сном — темно.

Марья взяла перо.

Рука снова дрогнула — чуть-чуть, на самом кончике, — и она задержала дыхание, как задерживают его перед прыжком в воду. Потом медленно, осторожно, почти нежно поднесла перо к бересте. Острие коснулось коры рядом с единицей. Одно движение. Вертикальная палочка, закруглённая внизу. Единица становится двойкой. Сто двенадцать становится сто двадцать два.

Замерла. Перо касалось бересты, но ещё не двигалось. Ещё можно было отнять руку. Ещё можно было положить лист в стопку, задуть лампаду, встать и уйти. Вернуться завтра. Дописать. Сдать игуменье. Получить похвалу. Получить от матери «вот и славно». Прожить ещё один день — семьсот первый. Потом семьсот второй. Потом — тысячный. Потом состариться.

Перо двинулось.

Чернила легли на бересту — тонкой, ровной линией. Единица стала двойкой. Сто двадцать две гривны. Разница — десять гривен серебра. Целое состояние для простого человека. Хватило бы купить корову — и не одну.

Марья отняла перо и посмотрела на цифру. Двойка стояла ровно, уверенно, будто всегда была здесь. Даже почерк совпал — одна рука, одни чернила, одна манера вести линию. Никто бы не отличил. Может быть, даже Нестор, с его ухом, не учуял бы подвоха.

Заметят? Не сразу. Может, через неделю, когда казначей начнёт сверять записи с тем, что привезли сборщики с погостов. А может, и через месяц, когда станут готовить отчёт для князя. А может — никогда. Может, ошибку спишут на сборщика, или на погоду, или на торговлю, которая в этом году шла хуже. Может, цифру проглотят, как глотают горькое лекарство, — не разжёвывая.

Сердце стучало. Марья прислушалась к нему — и удивилась: оно стучало ровно, размеренно, без перебоев. Не бешено, как она ожидала. Не панически. А ровно и сильно, как стучит молот кузнеца, которому не впервой бить по раскалённому железу. Будто сердце знало раньше, чем разум, что это уже сделано. Что это было неизбежно.

Она и сама не понимала, зачем. Не ради денег — она их не трогала и не собиралась трогать. Не ради мести — игуменья не сделала ей ничего дурного, напротив, приблизила, доверяла. Это было что-то другое. Словно она всадила нож в стену темницы — не чтобы вырезать дверь, а чтобы доказать себе, что стена не каменная. Что её можно пробить. Что можно сделать то, чего от тебя не ждут. Может быть, ей просто нужно было убедиться, что она — живая. Что два года покорности, ровных столбцов и материнского «хлебное место» не превратили её в Нестора — слепого, покорного, считающего ухом в темноте.

Марья подула на бересту, подождала, пока просохнет, и положила лист в стопку.

И только тогда — когда лист лёг на другие листы и стал неотличим от них — руки начали дрожать. Мелко, сильно, так, что она прижала их к коленям и сидела, не двигаясь, пока дрожь не прошла. Это заняло время — минуту, или две, или десять. Лампада потрескивала. Тени плясали по стенам. Всё было тихо. Мир не заметил. Но она — заметила.

На смоленском торгу пахло рыбой, смолой и вечерним дымом. Торг располагался внизу, у самой пристани, где Днепр делал излучину и берег становился пологим, удобным для причаливания. Здесь теснились лавки и навесы, а по вечерам, когда торговля стихала, у колодца собирались женщины — посудачить, обменяться новостями, поглядеть на проходящих мимо дружинников.

Марья шла к колодцу через торг, через запахи и шум, и думала о Ждане. Они дружили с детства — с той поры, когда обе были босоногими девчонками на посаде, когда мир ещё не разделился на «правильный» и «неправильный». Жданина мать и Марьина жили по соседству, и девчонки росли бок о бок, как два дерева из одного корня, — только одно тянулось вверх, к солнцу и ветру, а другое — в сторону, куда деревьям расти не положено.

Марья помнила, как они играли на берегу: Ждана лепила из глины горшочки — терпеливо, аккуратно, высунув кончик языка от усердия, — а Марья считала камешки на речной косе. Не собирала, не кидала, а именно считала: «Сколько красных, сколько серых, сколько с белыми прожилками». Ждана смеялась: «Ну зачем тебе?» Марья не могла объяснить. Ей нравилось, когда мир укладывался в числа, — делался понятным, послушным, правильным. Ждана жила иначе: мир был для неё тем, что можно потрогать, слепить, надеть, съесть. Горшочек из глины. Платок с вышивкой. Пирог с репой. Жених. Дети. Дом.

Когда им было по двенадцать, Марья нашла у матери берестяную грамоту — старую, рваную, с торговыми записями, — и целый вечер разбирала буквы, водя пальцем по процарапанным значкам. Ждана сидела рядом, плела венок и качала головой: «Ненормальная ты, Марька. Кому это надо — буквы?» А потом, годом позже, когда Марья уже работала в скриптории и пропахла чернилами, Ждана стала звать её реже. Не со зла — просто у них кончились общие интересы. Ждана говорила о парнях, о приданом, о том, какой ширины должен быть пояс у хорошей жены. Марья — о цифрах, о записях, о том, что если сложить десятину со всех погостов за три года, то видно, как торговля смещается от пристани к верхнему торгу. Ждана слушала, моргала и переводила разговор на парней.

И всё же они дружили. Упрямо, по привычке, потому что детская дружба — как корень дерева: даже когда ствол наклоняется в другую сторону, корень держит.

Ждана ждала её у колодца, как обычно, — румяная, круглолицая, в новом платке с красной вышивкой. Глаза блестели — Марья сразу поняла: новость.

— Меня сватают! — вместо приветствия. Глаза сияли. — Гончар с посада, у отца своя мастерская. Матушка говорит — хороший человек, непьющий. Руки золотые, горшки его до самого Новгорода возят.

— Рада за тебя. — И почти не соврала. Она была рада — тем далёким, тихим чувством, каким радуются за человека, который нашёл то, что ищет, когда ты сам ещё не знаешь, чего ищешь.

Ждана покачала головой, понизила голос:

— А ты всё с цифрами? Матушка твоя права, пора о семье думать. Вон, дьяконов сын на тебя заглядывается. Не красавец, зато при месте. И тихий, смирный — бить не станет.

Марья не ответила. Она смотрела на пристань, где покачивались ладьи — длинные, просмолённые, с высоко задранными носами. Одна из них, самая большая, была нагружена бочками с мёдом и связками мехов. На корме сидел мужик в кожаной безрукавке и чинил парус. Ладья уходила вниз по Днепру — туда, где река становилась шире и могучее, к порогам, к морю, к Царьграду. Отсюда, из Смоленска, путь до Царьграда был долог: сначала по Днепру до Киева, потом дальше на юг, через пороги, где печенеги поджидали караваны, и наконец — в открытое море. Но люди ходили этим путём, ходили и возвращались — с серебром, шелками, рассказами и шрамами.

«Они плывут туда, где звёзды видны целиком», — подумала Марья, и сердце сжалось так, что стало трудно дышать.

— Ты меня слушаешь? — обиделась Ждана.

— Слушаю. Дьяконов сын. Непьющий. Запомню.

Ждана вздохнула и покачала головой, но промолчала. Она давно привыкла к тому, что подруга смотрит куда-то мимо, поверх крыш, поверх людей — туда, куда Ждане заглядывать не хотелось. Когда-то в детстве это казалось причудой. Теперь — чудачеством. А скоро, Ждана чувствовала, станет бедой.

Мать месила тесто, когда Марья вошла. В избе было душно: лучина горела неровно, бросая на стены дрожащие тени. Пахло кислым — квашня стояла в углу с утра. Отец сидел на лавке у печи, вытянув больную ногу, и строгал ножом деревянную ложку. Он делал это каждый вечер — строгал ложки, миски, веретена, — не потому что нужны были, а потому что руки не могли сидеть без дела. Стружка вилась белой лентой и падала на пол, и пахло свежим деревом — единственный запах в этом доме, который Марья любила.

Мать заговорила, не оборачиваясь:

— Слышала, князь тобой доволен. Игуменья хвалила. Вот и славно. Может, и жених найдётся из дружинников. Будешь сидеть в тепле, детишек растить. Чем плохо?

— Ничем. — Марья села на лавку рядом с отцом. Он покосился на неё, но ничего не сказал — только чуть подвинулся, уступая место.

— Вот и я говорю — ничем. Другие вон в поле горбатятся с утра до ночи, а у тебя хлебное место. Руки чистые, спина не надорвана.

Отец хмыкнул, но промолчал. С тех пор как вернулся из похода, он вообще говорил мало. Слова давались ему тяжело, будто каждое приходилось вытаскивать из глубины, как ведро из колодца.

Марья взяла со стола ложку — старую, с резной ручкой. Отец вырезал её давно, ещё до похода, когда руки у него были крепче, а узор — затейливее. Повертела в пальцах, провела подушечкой большого пальца по стёртому рисунку.

— Матушка, — тихо, но твёрдо, — а тебе самой никогда не хотелось увидеть, что там дальше по Днепру? Что за лесами, за степью?

Мать обернулась. Руки в тесте, лицо усталое, в глазах — мгновенный испуг.

— Там печенеги. И гибель. Не выдумывай.

Отец поднял голову от своей стружки. Посмотрел на Марью — долго, внимательно, будто видел в ней что-то, чего мать не видела. Потом опустил глаза и снова принялся строгать. Нож скользил по дереву тихо, почти беззвучно, но руки его говорили то, что губы не произносили.

Марья положила ложку на место и пошла спать.

Но не уснула. Лежала, слушала, как мать возится с тестом, как скрипят половицы, как отец покашливает у печи, как где-то далеко, на посаде, лают собаки. За стеной, за тыном, за крепостным валом текла река — она слышала её даже отсюда, или ей казалось, что слышала. Днепр шумел, звал, тянул к себе. Решение зрело в ней, как зерно в земле, — медленно, неудержимо, — и она уже знала, что не сможет его остановить.

Три дня прошли. Утром четвёртого мать Феодосия вошла в скрипторий, и по её лицу Марья поняла всё.

— В расчётах ошибка. — Голос был ровный, но пальцы, стиснувшие берестяной лист, побелели. — Князь вызвал меня. Опозорил перед всем двором. Спросил, не воруем ли мы десятину. Спросил при боярах, при дружине — при всех. Кто виноват?

Тишина в подклети стала вязкой, как дёготь. Нестор втянул голову в плечи. Мальчишки замерли. Рыжий Онфим побледнел так, что веснушки стали похожи на капли ржавчины на белом полотне. Тимоха сжал руки под столом — Марья видела, как побелели его костяшки. Данилка, самый младший, прикусил губу и смотрел на свои «буки», словно надеялся провалиться сквозь бересту.

Игуменья шла вдоль столов, сверяя листы. Шаги её были мерными, неумолимыми. Остановилась у Марьиного стола.

— Твоя цифра?

Марья посмотрела ей в глаза. Серые — в серые. И солгала:

— Я проверяла, матушка Феодосия. Было верно. Может, при переписывании кто ошибся?

Игуменья смотрела долго. Секунду, две, пять. Марья не отвела взгляд, хотя внутри всё горело — горело так, что казалось: дым повалит из ушей, и все увидят, и все поймут. Она вспомнила тот вечер — лампаду, тени, дрожь в руке, — и подумала: вот цена. Вот она, прямо перед тобой, смотрит зимними глазами.

Наконец игуменья отвернулась.

— Ступай. Но если найдётся виновный — пеняй на себя.

Это «пеняй на себя» было обращено ко всем. И ни к кому.

Марья вышла на паперть и села на ступени. Солнце било в глаза — непривычно ярко после подклети. На посаде кричали торговцы, стучали молотки, где-то ржала лошадь. С реки тянуло сыростью и рыбой. Обычный день. Мир не заметил того, что она сделала.

Вина пришла первой — тяжёлая, как мокрая шуба. Она подвела игуменью, которая два года ей доверяла. Ту самую игуменью, которая однажды сказала ей «не жди» — и в этих двух словах отдала больше, чем все похвалы за два года. Подвела Нестора и мальчишек, на которых теперь падёт подозрение. Подвела мать, которая гордилась её «хлебным местом». Подвела отца — молчаливого, сломленного отца, который и так нёс на плечах больше, чем мог вынести.

Но следом за виной пришло другое — лёгкое, острое, как первый глоток воздуха после нырка. Облегчение. Теперь ей здесь не место. Цепь, которая держала её в скриптории — репутация, похвалы, «два года без ошибок», — эту цепь она перерубила сама. Криво, подло, но перерубила. И, Господи, как же легко стало дышать.

Наутро мальчишка-служка принёс бересту. Грамота была маленькая, свёрнутая в трубку, перевязанная бечёвкой. Почерк корявый, буквы крупные, как следы от копыт, — так писал человек, привыкший держать в руках весло и топор, а не перо.

«Племянница, я в Смоленске, стою у купца Путяты на пристани. Приходи, поговорим. Варяжко».

Марья прочитала дважды. Потом прижала бересту к груди и закрыла глаза. Сердце колотилось так, словно она бежала от самой пристани до верхнего города не останавливаясь. Совпадение? Или знак? Она не верила в знаки — два года работы с цифрами отучили её от суеверий. Числа не лгут, не посылают знамений, не играют с человеком в прятки. Но если бы верила — сказала бы: судьба.

Смоленская пристань гудела. Грузчики таскали бочки, мальчишки ловили раков у причалов, чайки орали так, что закладывало уши. Пахло смолой, мокрым деревом и рыбой — живой, трепещущей в корзинах. У длинных мостков стояло с десяток ладей — торговых, грузовых, одна княжеская, с яркой раскраской на бортах. Народу было много: осень — последнее время для торговых караванов, скоро река встанет, и до весны — никуда.

Дядю она узнала издали — по спине. Широкая, как ворота, обтянутая кожаной безрукавкой, покрытая старыми шрамами, которые она помнила с детства. Он сидел на корточках у ладьи и конопатил щель в борту. На поясе — топор с варяжским узором на лезвии. Рядом на бревне сидел молодой парень и смолил верёвку; завидев Марью, он поднял бровь, но ничего не сказал.

— Дядя.

Обернулся. Лицо обветренное, в морщинах, борода с проседью. Но глаза — живые, цепкие, молодые. Эти глаза помнили и штормы, и пороги, и стены Царьграда, и Марье всегда казалось, что в них можно увидеть отражение всех тех мест, где он побывал.

— Выросла, племянница. — Разогнулся, вытер руки о штаны. — Слышал, ты у князя в чести. Считаешь, как грек.

— Считала.

Он посмотрел на неё внимательнее. Что-то уловил в голосе — или в глазах. Или в том, как она стояла: прямо, напряжённо, как стоит человек, принявший решение, которое уже не отменить.

— Садись. — Кивнул на перевёрнутую бочку. — Говори.

Она села. Помолчала. Днепр плескался у бортов ладьи, и этот плеск был совсем не похож на скрип пера по бересте. Потом:

— Дядя, возьми меня с собой в Царьград.

Он не удивился. Только прищурился, как щурятся люди, привыкшие смотреть на солнце над водой.

— Дорога трудная. Сначала до Киева — это ещё полбеды. А дальше — пороги, и печенеги у порогов не шутят: три каравана разбили за лето. Море штормит. Греки норовят обмануть на каждом повороте. Не женское это дело.

— Я не боюсь. — Слова вырвались раньше, чем она успела подумать, — и она поняла, что почти не врёт. Страх был, но он был другого рода — не перед печенегами, а перед тем, что она останется здесь. Состарится, как мать. Замолчит, как отец. — Я считать умею, помогу с товаром. Каждую куну учту. И хочу увидеть мир, дядя. Своими глазами. Не по чужим рассказам — своими.

Варяжко молчал. Смотрел на реку, на ладьи, на чаек. Потом произнёс тихо, будто не ей, а себе:

— Раньше мы сами брали дань. Ходили к грекам, и они нас боялись. А теперь кланяемся, торгуемся, как бабы на торгу. И печенеги обнаглели — знают, что князю не до них. — Повернулся к ней. — Мать отпустит? Отец?

— Я уже решила. Завтра на рассвете. Где твоя ладья?

Усмехнулся — одним уголком рта, по-варяжски.

— Вот она, перед тобой. Крайняя к воде, с красным носом. Приходи, если не передумаешь. Но знай — обратно отправить тебя будет не с кем. Решишь — так решишь.

— Решила.

Мать стояла спиной, месила тесто. Как всегда. Как будто ничего не менялось и не могло измениться. Лучина потрескивала. В углу темнела икона — маленькая, потемневшая от копоти и времени. Отец сидел на своём обычном месте у печи, но не строгал — просто сидел, положив тяжёлые руки на колени, и смотрел на огонь.

— Матушка, — с порога, и голос не дрогнул, потому что она прорепетировала эту фразу десять раз по дороге, — я ухожу завтра с дядей Варяжко в Царьград.

Мать не сразу обернулась. Сначала замерли руки — в тесте, по локоть. Потом она медленно повернулась, и Марья увидела её лицо. Не гнев — ужас.

— Ты с ума сошла. — Шёпот, но такой, что стены, казалось, вздрогнули. — Печенеги. Море. Греки — они хитрые, обманут, продадут в рабство. Ты не знаешь мира, Марья. Ты знаешь только свои цифры.

— Дядя меня не даст в обиду. Он десять раз ходил этим путём и вернулся.

— А отец? — Голос матери стал острым, как нож. — Отец твой тоже ходил. И вернулся ли? Поглядишь на него — вернулся ли?

Отец не шевельнулся. Только пальцы сжались на коленях — медленно, тяжело, — и снова разжались.

— Я не хочу умереть в старости, так и не узнав, что за Днепром. — Горло сжалось, но она договорила. — Просижу жизнь в подклети, считая чужие куны? Нет, матушка. Я не могу. Прости меня и отпусти.

Мать смотрела на неё, и Марья видела, как в её глазах борются страх и что-то ещё — может быть, понимание. Или память о том, какой она сама была в шестнадцать лет, когда рыжий дружинник с резной ложкой в котомке позвал её замуж и она, не раздумывая, пошла.

Тесто медленно стекало с материнских рук на пол. Тишина стояла такая, что было слышно, как потрескивает лучина и как за стеной, далеко-далеко, плещется река.

Потом заговорил отец. Впервые за весь вечер. Впервые за долгие месяцы — не одно-два слова, а целую речь:

— Пусть идёт.

Мать резко обернулась к нему. Он сидел всё так же, не шевелясь, глядя в огонь.

— Пусть идёт, — глухо, но твёрдо. — Я не пошёл бы снова, даже если б ноги держали. Но она — не я. У неё глаза другие. Как у Варяжко. Не удержишь — сломаешь.

Мать подняла руку — ту, что была чище, — и перекрестила дочь. Медленно, тяжело, будто крест весил пуд.

— Погубишь ты себя. — И отвернулась к квашне.

Марья хотела обнять её. Но не стала. Знала: если обнимет — не уйдёт. Она только посмотрела на отца. Он чуть кивнул — еле заметно, одним движением тяжёлой головы. И этот кивок стоил больше, чем любые слова.

Рассвет был серый, как всегда в Смоленске осенью. Туман поднимался от Днепра и полз по посаду, обволакивая причалы, ладьи, фигуры людей. Всё казалось зыбким, ненастоящим — будто город написан на бересте, и кто-то смывает чернила мокрой тряпкой. Земляной вал проступал из тумана тёмной полосой, и сторожевые башни казались призрачными, словно нарисованными на мутном стекле.

Ладья Варяжко покачивалась у крайнего причала — длинная, крепкая, с красным резным носом в виде конской головы. На бортах — следы смолы, на палубе — бочки, тюки, свёрнутые канаты. Пахло дёгтем и мокрой парусиной. Гребцы — шестеро угрюмых мужиков — занимали свои места, переговариваясь вполголоса. Один из них — тот молодой парень, что смолил верёвку вчера — увидел Марью и толкнул соседа локтем, но сосед только буркнул что-то невнятное и продолжил возиться с веслом.

Мать стояла на берегу. Она пришла — Марья не просила, но знала, что придёт. Стояла прямо, сжав руки на груди, в старом платке, и лицо её было неподвижным, будто вырезанным из дерева. Рядом толклись другие женщины — жёны и матери гребцов, привычные к проводам. Отца не было. Марья поняла — он не смог дойти. Или не захотел. Иногда это одно и то же.

Но когда она подошла ближе, то увидела: на причальном столбе, привязанная бечёвкой, висела деревянная ложка. Новая, свежевырезанная, с узором из переплетённых листьев — тоньше и искуснее, чем те, что отец строгал по вечерам. Он, должно быть, резал её всю ночь, при свете лучины, больными негнущимися пальцами. Марья взяла ложку, провела по ней пальцем — узор был мелкий, тонкий, и она вдруг поняла: это не листья. Это звёзды. Маленькие, переплетённые друг с другом, как те, что она видела на речной косе, когда ей было шесть лет, и отец говорил: «Главное — смотреть вверх».

Она спрятала ложку за пазуху и перешагнула через борт. Ладья качнулась под её ногой, и она схватилась за канат. Дядя Варяжко стоял на корме, положив руку на рулевое весло. Кивнул — коротко, без улыбки. Как равной.

— Отдать носовой!

Канат плюхнулся в воду. Ладья медленно отошла от причала. Вёсла опустились в воду — разом, слаженно, — и ладья двинулась. Берег стал отдаляться.

Марья стояла у борта и смотрела назад. Мать на берегу становилась меньше — фигурка в сером платке среди других фигурок. Потом её поглотил туман. Смоленск растворялся: сначала причалы, потом крыши посада, потом крепостной вал с башнями, потом верхушка деревянной церкви Святого Климента — той самой, в подклети которой она два года считала чужие деньги. Последним исчез крест, мелькнувший в просвете тумана, — и пропал.

Марья подняла голову.

И увидела звёзды.

Они ещё не погасли — рассвет только начинался, и на западном краю неба, там, куда не добрался серый свет, ещё горели три или четыре звезды. Тусклые, далёкие, почти невидимые. Но они были. Настоящие. Не в щели окна, не между крышами — в открытом небе, над рекой, над водой, над её головой. И одна из них — самая верхняя, самая неподвижная — стояла

на севере, как стояла всегда, как будет стоять, когда Марья доберётся до Царьграда и увидит другое небо.

Небесный Кол. Отцовская звезда.

«Вот ты, — подумала Марья. — Я иду».

Она коснулась ложки за пазухой — тёплой, гладкой, хранящей тепло отцовских рук. И улыбнулась.

Ладья набирала ход. Вёсла мерно били по воде. Берега Днепра расступались, становились ниже, шире. Река несла их на юг — к Киеву, к порогам, к морю. Ветер крепчал — холодный, речной, пахнущий илом и свободой. Впереди, далеко, за поворотами реки, за лесами и степями, за порогами, за морем, лежал Царьград.

Крик чайки. Плеск вёсел. Тишина.

II

Первые три дня Марья считала.

Не потому что её просили — хотя дядя Варяжко, узнав, что она проверила припасы и обнаружила недостачу в полтора пуда сушёной рыбы, одобрительно хмыкнул и велел ей вести учёт. Она считала, потому что не умела иначе. Мир вокруг был новым, огромным, пугающим, и цифры помогали его приручить. Шесть гребцов, восемнадцать вёсел (шесть запасных), тридцать два дня пути до Корсуни при попутном ветре, сорок — при встречном. Четырнадцать бочек мёда, девять тюков мехов, два мешка воска. Один грек-попутчик. Одна беглая писарша.

Днепр ниже Смоленска был широк — в иных местах противоположный берег терялся в дымке, и казалось, что ладья плывёт по морю. Берега стояли стеной леса: дубы, вязы, ольха — зелёные, тяжёлые, неподвижные. Иногда из чащи выходил к водопою лось, поднимал голову, смотрел на ладью тёмными равнодушными глазами и отворачивался. Цапли взлетали из камышей, хлопая крыльями, как мокрым бельём. Мир был полон движения, звуков, запахов — и всё это было настоящим, не нарисованным на бересте.

Марья сидела на корме, рядом со свёрнутым парусом, и смотрела. Просто смотрела. В скриптории она отвыкла от этого — там смотреть было не на что, кроме цифр и стен. Здесь глаза не знали, за что зацепиться: за облака, похожие на рваную овчину, за солнечную рябь на воде, за чаек, которые летели за ладьёй, выпрашивая рыбу. Иногда она ловила себя на том, что улыбается без причины, — и тут же одёргивалась, потому что чувствовала на себе взгляды. Улыбка на чужом лице — как незапертая дверь: всякий решит, что можно войти.

Команда приняла её настороженно. Не враждебно — дядя Варяжко был старшим, хоть и греб наравне со всеми, и его слово было законом, — но с тем недоверием, с каким бывалые люди смотрят на чужака. Баба на ладье — к неудаче, так говорили. Не при ней говорили, но она слышала.

Первым оттаял Мал — молодой гребец, широкоплечий, с копной соломенных волос и щербатой улыбкой. На второй день он подсел к ней во время привала и спросил:

— А ты правда считать умеешь? Ну, по-настоящему?

— Умею.

— А сколько будет семнадцать на двадцать три?

Марья посмотрела на него.

— Триста девяносто один, — выпалила она быстрее, чем подумала.

Мал открыл рот, закрыл, потом повернулся к Радомиру:

— Слыхал? Триста девяносто один! Это ж как?

Радомир — коренастый, молчаливый, с медным крестом на шее — пожал плечами:

— Бог дал разум, вот и считает. Чего пристал.

— Да я не пристаю! Я восхищаюсь!

Мал стал с тех пор относиться к Марье как к диковинке — вроде двухголового телёнка. С почтением и лёгким испугом. Он показал ей, как правильно держать весло (она попробовала — хватило на четверть часа, потом ладони горели так, что она не могла сжать кулак), объяснил, как ладья устроена, как ставить парус и почему нельзя черпать воду с левого борта, когда ветер дует справа. Весло не прощает непривычных рук — это она запомнила.

Вечером второго дня причалили к низкому берегу, заросшему ракитником. Мал развёл огонь — быстро, умело, тремя ударами кресала, — и пока Радомир чистил рыбу, а Гуннар таскал хворост, сел рядом с Марьей и вдруг заговорил о себе. Без повода, без спроса — просто заговорил, как говорят люди, которым одиноко и которые привыкли к тому, что их слушают.

— Я из-под Вышгорода. — Он обдирал кору с ветки, не глядя на Марью. — Деревня Дубки. Слыхала?

— Нет.

— Никто не слыхал. Двенадцать дворов, речка, три коровы на всех. Батя помер, когда мне четырнадцать было. Лихорадка. Осталась мать с четырьмя ртами — я старший, потом сёстры. Ну и вот. — Он кинул ободранную ветку в огонь. — На весло сел в пятнадцать. Первый раз до Корсуни дошёл — думал, помру. Руки в кровь, спина не разгибается, кормчий орёт. А потом — ничего. Привык. Теперь вот четвёртый год хожу.

— Четвёртый год? — Марья прикинула. — Тебе восемнадцать?

Мал улыбнулся щербато:

— Девятнадцать с осени будет. Матери половину отдаю. Она ждёт. Каждый раз, когда ухожу, стоит на берегу и крестит вслед. Сёстры тоже стоят. Младшая, Забава, каждый раз ревёт. Ей восемь.

Он замолчал, и Марья увидела, как он сглотнул — быстро, резко, и отвернулся к огню. Она подумала о своей матери. О том, как та крестила её у порога. Стояла на берегу и не ушла, пока Марья не скрылась за поворотом. Не звала назад. Просто стояла.

— У тебя хорошая мать, — промолвила Марья, не сразу подняв глаза.

— Все матери хорошие. — Мал помолчал. — Это мы дурные. Уходим, а они ждут.

Он снова улыбнулся — и грусть ушла из его лица так же быстро, как пришла. Мал был из тех людей, которые не умеют грустить долго, — горе в них не держалось, как вода в решете.

Радомир молча слушал, сидя на корточках над рыбой. Когда Мал договорил, Марья повернулась к нему и спросила то, о чём думала с первого дня:

— А крест у тебя откуда?

Радомир поднял голову. Пальцы, перепачканные рыбьей чешуёй, коснулись медного крестика на кожаном шнурке.

— Бабкин, — обронил он коротко, будто одним словом можно было закрыть тему.

— Бабка твоя христианка была?

Радомир усмехнулся — не зло, а горько, как усмехаются над чем-то давним.

— Бабка моя Перуну кланялась до самой старости. Волхвов слушала, в рощу ходила, на дуб ленточки вязала. А потом захворала. Тяжко, насмерть. И пришёл к ней поп заезжий — не помню, откуда, может, из Болгарии. Говорил тихо, не орал, не стращал. Сказал: «Есть один Бог, который не требует жертв. Который просто любит». Бабка послушала и говорит: «Ну, окрести. Хуже не будет». Окрестили её за два дня до смерти. Она крест этот держала в руках и не отпускала. Когда умерла — разжали пальцы, а на ладони — след. Вмятина от креста, вот тут. — Он показал на своей ладони. — Мне было семь. Я забрал крест. С тех пор ношу.

— И ты веришь? Как она?

Радомир долго молчал, поворачивая рыбу над углями.

— Не знаю, как она, — выговорил он наконец. — Она верила, что хуже не будет. Я верю, что кто-то смотрит. Сверху. Не Перун, не Велес — они злые, капризные, как дети. А кто-то тихий. Кто-то, кто просто смотрит и не отворачивается. Мне этого хватает.

Мал хотел было что-то вставить — какую-нибудь шутку, по привычке, — но посмотрел на Радомира и промолчал. Огонь потрескивал. Рыба шипела. Где-то на реке ухнула выпь — гулко, протяжно, будто дунула в пустой кувшин. Ночь слушала вместе с ними.

Кормчий Свенельд был другим. Старый варяг, жилистый, с обветренным лицом цвета дублёной кожи и глазами, прищуренными навечно — будто он всю жизнь вглядывался в даль и не мог остановиться. Он говорил мало, по-славянски — с варяжским скрежетом, глотая окончания. Но когда говорил, все слушали.

На третий день он указал за борт:

— Видишь воду? Что видишь?

— Воду, — Марья растерялась, не понимая, чего он ждёт.

— Плохо видишь. Смотри: вон там рябь мельче — значит, мель. Там круги — камень на дне. А вон там течение быстрее — значит, русло уже. Река говорит, надо слушать.

Марья посмотрела внимательнее. И увидела. Рябь, круги, течение — река действительно говорила, только на языке, которого она не знала. Как цифры. Как буквы, которые ничего не значат, пока не научишься их читать.

— Спасибо, — бросила она в спину Свенельду, уже повернувшемуся к рулевому веслу.

Он не обернулся, но кивнул — коротко, как человек, не привыкший к благодарности.

Шестым в команде был Гуннар — рыжий скандинав, не говоривший по-славянски ни слова. Он общался жестами, мычанием и иногда — длинными фразами на своём языке, которые никто не понимал, кроме Свенельда, и тот переводил редко. Гуннар грёб как машина — ровно, мощно, не уставая, — и единственной его слабостью была варёная репа, которую он ненавидел и каждый раз при виде её произносил длинную гневную тираду, от которой Мал покатывался со смеху. Репа была для Гуннара тем, чем для Радомира — языческие боги: личным, непримиримым врагом.

На третью ночь, когда Мал затянул песню — заунывную, дорожную, про молодца, который ушёл на чужбину и не вернулся, — произошло то, чего никто не ожидал. Гуннар, сидевший в стороне и чинивший ремень на сапоге, вдруг поднял голову. Послушал. Потом открыл рот — и запел.

Не по-славянски. На своём языке, гортанном и жёстком, который здесь, у костра, вдруг стал мягким. Голос у Гуннара оказался низкий, густой, неожиданно красивый для человека, который обычно только мычал и рявкал. Песня была медленной, тягучей, с повторами — как прибой. Слов не понимал никто, но и не нужно было. В ней было море. Дом, оставленный далеко. Женщина, ждущая на берегу. Или не ждущая.

Мал замолчал и слушал, раскрыв рот. Радомир перестал чистить нож. Даже Свенельд, обычно равнодушный ко всему, кроме реки и ветра, повернул голову.

Когда Гуннар замолчал, тишина стояла долго — только угли щёлкали.

— Это про что? — выдохнул Мал шёпотом, будто боялся спугнуть.

Свенельд помедлил.

— Про корабль, который не вернулся. Про людей, которые ушли за край моря. Это старая песня. Её поют, когда хоронят. Или когда скучают.

— По кому он скучает? — тихо спросила Марья, глядя на Гуннара.

Свенельд посмотрел на него. Тот сидел, уставившись в огонь, и лицо его — обычно непроницаемое, как камень — было мягким, почти беззащитным.

— У него были братья, — Свенельд понизил голос, так, чтобы Гуннар не слышал. Хотя Гуннар, может, и слышал — только не подал виду. — Двое. Ушли на восток, в земли русов. Вместе с ним. Один утонул в порогах, три года назад. Второй погиб в стычке с печенегами, здесь, на Днепре. Гуннар остался. Идёт тем же путём. Каждый год. Не знаю зачем. Может, ищет их. Может, не хочет, чтобы дорога была пустой.

Марья посмотрела на Гуннара — огромного, рыжего, молчаливого — и впервые увидела не гребца, не машину для вёсел, а человека. Человека, который каждый год проходил мимо места, где утонул его брат, и пел ему песню. Молча, на языке, которого здесь никто не понимал.

Она отвернулась, чтобы он не заметил её взгляда. Людям, которые не хотят, чтобы их видели, нельзя навязывать внимание — это она знала ещё по скрипторию. Там тоже были люди, которые прятали горе за молчанием. Молчание — тоже язык, только говорит оно не словами, а тем, что между ними.

Грек Николай присоединился к ним ещё до Смоленска — заплатил Варяжко две гривны за место на ладье и кормёжку. Невысокий, круглый, с аккуратной чёрной бородкой и быстрыми карими глазами. Говорил по-славянски бегло, но с мягким акцентом, который превращал все «ш» в «с», а все «ц» в «тс».

Вечером четвёртого дня ладья причалила к песчаному острову. Развели костёр, сварили кашу с рыбой, Мал достал флягу с медовым взваром. Марья сидела чуть в стороне, обхватив колени, и смотрела на огонь.

Николай подсел к ней — легко, ненавязчиво, как умеют греки.

— Скучаешь по дому?

— Нет. — И подумала: «А где мой дом?»

— Правильно, — Николай кивнул. — Дом — это место, куда возвращаешься. А ты ещё не знаешь, куда вернёшься. Значит, пока весь мир — твой дом.

Марья покосилась на него с подозрением. Грек улыбнулся — не хитро, а устало, по-дорожному.

— Не бойся, не философствую. Просто много ездил. — Помолчал. — Ты ведь в Царьград хочешь?

— Хочу.

— Зачем?

Она задумалась. «Увидеть мир» — звучало красиво, но пусто. Как пустой кувшин: форма есть, а налить нечего.

— Хочу понять, как он устроен, — проговорила она наконец. — Мир. Я считала чужие деньги два года и ни разу не задумалась, откуда они берутся. Куда уходят. Почему одни богаты, а другие бедны. Почему одни народы строят храмы до неба, а другие живут в шатрах и грабят караваны. Должна же быть причина.

Николай посмотрел на неё внимательно — так, будто увидел впервые.

— Любопытная ты. — Он почесал бородку. — Знаешь, я три года прожил здесь, на Руси. Три зимы. Ты понимаешь, что такое для грека — русская зима?

— Зачем же остался?

Николай помолчал. Лицо его стало другим — не круглым и лукавым, а плоским, замкнутым, как захлопнутая дверь. Потом он выдохнул и заговорил — тихо, будто сам себе.

— Приехал торговать. Шёлк, парча, тонкие ткани — здесь их любят, а у нас они дёшевы. Договорился с купцом — Нежданом звали. Хороший человек был. Честный. Мы ударили по рукам: я привожу товар, он продаёт, делим прибыль. Два раза так прошло. На третий — Неждан захворал. Тяжко. Слёг к Рождеству и помер. А долг остался. Вдова его, Любава, — баба добрая, но глупая. Торговать не умеет. Я год пытался долг вернуть — помогал ей вести дела, объяснял, учил. Без толку. Она влезла в новые долги, я — с ней за компанию. — Он

усмехнулся. — Думаешь, грек — значит, хитрый? Может, и хитрый. Но не настолько, чтобы бросить вдову с тремя детьми.

— И что? Вернул долг?

— Отработал. Два года. Шкуры считал, мёд возил, на торгу стоял в мороз — уши чуть не отвалились. Научился вашу кашу варить, вашу рыбу солить. — Он покрутил головой. — Русский мороз, Марья, это не холод. Это наказание. Бог посмотрел на землю и сказал: «Вот здесь будут жить самые упрямые люди. И я дам им самую упрямую зиму». И дал.

Марья засмеялась — в первый раз за четыре дня, искренне, до слёз. Николай улыбнулся в ответ, но глаза его остались серьёзными.

— А теперь еду домой. В Царьград. Там тепло, там рыба и вино. Там моя мать, которая три года думает, что я погиб. Там мой дом. — Помолчал. — Но знаешь, что странно? Я скучаю по вашему снегу. По тому, как он падает — тихо, медленно, будто мир засыпает. У нас такого нет. У нас — камень, солнце, ветер. А здесь… здесь мир мягкий. Даже когда злой.

Он замолчал. Мал, подслушивавший — без стеснения, как он всё делал, — протянул ему флягу:

— На-ка, грек. Выпей медового за нашу зиму. Заслужил.

Николай взял, отпил, закашлялся — медовый взвар оказался пряным, ядрёным — и покачал головой:

— И напитки у вас такие же. Упрямые.

Позже, когда Мал захрапел, а Радомир ушёл в дозор, Николай снова подсел к Марье. Она сидела, запрокинув голову, и смотрела вверх.

— Ты говорил, что звёзды можно изучать. Расскажи ещё.

— В Царьграде, — Николай начал медленно, подбирая слова, — есть учёные мужи, которые задают те же вопросы. Они сидят в библиотеках и читают книги, написанные тысячу лет назад. Философы, астрономы, математики. Они считают звёзды и предсказывают затмения.

— Считают звёзды? — переспросила Марья.

— Считают, измеряют, наносят на карты. Каждая звезда имеет имя. И каждая — своё место на небе. Они не блуждают, понимаешь? Они движутся по кругу, как стрелки на водяных часах, только медленнее. — Он поднял руку. — Видишь вон ту, яркую, низко над горизонтом?

Марья подняла голову. Небо было чёрным и глубоким — не городским, не подклетным, а настоящим, степным, таким, каким она помнила его из детства. Звёзд было столько, что они сливались в белёсую пыль.

— Ту, что не двигается?

— Именно. Киносура, или, как вы её называете, Кол. Она всегда на севере. Моряки по ней находят путь. Если знаешь, где север, — знаешь всё остальное.

— А другие? — Марья показала на россыпь звёзд, раскинувшуюся над рекой. — Вон те, дугой. Как ковш.

— Большая Медведица. Греки зовут Арктос — «медведь». Видишь семь ярких? Две крайние — проведи от них линию, и она укажет на Кол. Так мореход никогда не заблудится, даже в облачную ночь, если хоть на миг небо откроется.

— А вон та, красноватая?

— Арес. Или, как вы говорите, — Николай запнулся, подбирая слово, — звезда войны. Она не звезда на самом деле. Она — блуждающая, планета. Движется среди других, не стоит на месте. У древних было пять таких: Гермес, Афродита, Арес, Зевс, Кронос. Пять странников среди неподвижных.

— Блуждающие среди постоянных, — повторила Марья. И подумала: «Как я. Блуждающая среди людей, которые знают своё место».

Николай посмотрел на неё и, кажется, понял, о чём она думает, — но ничего не сказал. Только кивнул. Иногда понимание не требует слов — достаточно тишины, разделённой на двоих.

Марья смотрела на звезду. Маленькая, неподвижная, упрямая точка света — единственная, что не вращалась вместе с остальными. Как гвоздь, на котором держится весь небесный свод.

«Я видела тебя, — подумала она. — Давно, в детстве, на берегу. Ты была там, и ты здесь. Значит, ты настоящая. Значит, есть что-то постоянное в этом мире».

Ладья шла мимо низкого, поросшего ольшаником берега. На зелёной луговине паслось стадо коз — серых, бурых, с облезлыми боками и тупыми сытыми мордами. Пастух — мальчишка в рваной свитке — сидел на камне и ковырял палкой землю, не обращая на скотину никакого внимания.

Марья скользнула взглядом по берегу — и усмехнулась.

У самого обрыва, поодаль от стада, стояла коза. Белая. Не грязно-серая, не бурая — белая, будто её кто нарочно мыл. С аккуратными чёрными копытцами и внимательными, чуть навыкате глазами. Она деловито жевала кусок бересты — свежей, завернувшейся трубочкой, невесть как занесённой сюда ветром, — и жевала с таким видом, будто разбирала чью-то тяжбу. Ни пастуха, ни стада, ни ладьи для неё не существовало. Только береста хрустела на зубах, и коза чуть щурилась — то ли от солнца, то ли от глубокомыслия.

— Гляди-ка, — Мал перестал грести и вытянул шею. — Коза бересту жуёт. Грамотная, стало быть.

— Может, чью грамотку и сжевала, — хмыкнул Радомир. — Долговую.

— Так от того и на отшибе стоит, — подхватил Мал. — Улику прячет.

— Не прячет, — серьёзно возразила Марья. — Изучает.

Мал покосился на неё, хотел было что-то добавить — но передумал и взялся за весло.

Марья смотрела на белую козу, пока берег не потянулся дальше. Одна, на краю обрыва, с берестой в зубах, и ни малейшего дела ей до остального стада. Козы жевали траву, как все козы на свете. А эта — нашла себе бересту. И почему-то именно это казалось правильным.

На пятую ночь Марья не могла уснуть. Берег был каменистый, неуютный, костёр горел низко. Она лежала и слушала, как Радомир и Мал спорят вполголоса — думали, что она спит.

— Говорю тебе, нельзя девку на ладью, — бубнил Мал, но без злости, скорее по привычке. — Три года хожу — ни разу бабы не было. А тут — на тебе.

— Она тебе мешает?

— Не мешает. Но примета…

— Примета — дурь. Бог один, и ему всё равно, кто на ладье. Важно, кто в душе.

— Ну ты загнул. А Свенельд говорит, что его дед…

— Свенельд язычник. Ему простительно.

— Он не язычник. Он просто старый.

— Это одно и то же, — и Мал фыркнул, подавив смех.

Марья улыбнулась в темноте. Они спорили не о ней — они спорили о мире. О том, как он устроен, чему верить, а чему нет. Каждый из них нёс в себе свой мир — Мал с его деревней, матерью и сёстрами; Радомир с бабкиным крестом и тихим Богом, который «просто смотрит». Даже Гуннар, молчавший на непонятном языке, нёс в себе мир — скалы, море, братьев, которых больше нет. И все эти миры плыли в одной ладье, двенадцать саженей от носа до кормы. Тесно — а вместили всё.

«Странно, — подумала Марья. — В скриптории я сидела рядом с людьми два года и не знала о них ничего. А здесь — пять дней, и я знаю, почему Мал улыбается щербато, почему

Радомир трогает крест перед сном, почему Гуннар молчит. Может, дело не во времени. Может, дело в том, что на реке некуда спрятаться. Здесь все настоящие».

На десятый день Свенельд обронил:

— Завтра пороги.

Два слова. Команда притихла. Мал перестал шутить. Радомир достал крест и зашептал молитву — беззвучно, одними губами. Гуннар проверил топор. Дядя Варяжко долго стоял на носу, глядя вперёд, потом вернулся и негромко сказал Марье:

— Когда начнётся — держись за канат на корме. Не вставай. Что бы ни случилось — не вставай.

Она кивнула. Спросить «а что случится?» не решилась. Некоторые вопросы лучше не задавать — ответ придёт сам.

Ночью она не спала. Лежала на дне ладьи, завернувшись в овчину, и слушала. Река изменилась. Днём она этого не заметила, но ночью, когда стихли голоса и храп гребцов, стало слышно: далёкий, низкий, ровный гул. Не гром — грозы не было. Не ветер — воздух стоял. Это шумела вода. Много воды, падающей на камни.

Пороги.

Утром туман лежал на реке, как молоко в миске. Ладья шла медленно, вёсла едва касались воды. Свенельд стоял на носу — неподвижный, как деревянная фигура — и вглядывался в белую пелену. Гул нарастал. Теперь его слышали все.

— Ненасытец. — Одно слово, но Мал побледнел.

Первые камни показались из тумана, как зубы. Чёрные, мокрые, обросшие скользкой зеленью. Вода вокруг них кипела, закручивалась воронками, разбивалась в пену. Течение подхватило ладью, и Марья почувствовала, как дно под ней задрожало.

— К берегу! Волок! — голос Свенельда резал туман, как нож.

Вёсла ударили разом. Ладья развернулась, ткнулась носом в песчаную отмель. Все повыскакивали в воду — по колено, по пояс. Марья прыгнула тоже, и холод обжёг ноги так, что она задохнулась. Вода была ледяной — не летней, не речной, а какой-то подземной, словно шла из-под камней.

— Канаты! — рявкнул Варяжко.

Дальше было тяжело. Тяжелее всего, что Марья делала в жизни. Ладью вытащили на берег, подложили под днище брёвна-катки и потащили. Семеро мужчин и одна девка — на канатах, упираясь ногами в мокрую глину, скользя, падая, поднимаясь. Марья тянула, и верёвка врезалась в ладони так, что кожа лопнула. Она увидела кровь и удивилась — боли не было. Точнее, боль была везде: в руках, в спине, в ногах, — и отдельная боль в ладонях уже не имела значения.

Ладья ползла по каткам медленно, как раненый зверь. Метр, два, пять. До места, где река за порогом снова становилась судоходной, было две версты. Две версты по берегу, через кусты, камни, по грязи.

На первом привале — полпути позади — Марья опустилась на валун и прижала ладони к коленям. Кровь сочилась из трёх длинных ссадин, кожа висела лоскутами. Она рассматривала их с каким-то отрешённым любопытством, как чужие.

Тень упала рядом. Гуннар. Он присел на корточки, молча взял её руку — осторожно, как берут раненую птицу, — повернул ладонью вверх и нахмурился. Потом полез за пазуху и достал маленький кожаный мешочек, перетянутый шнурком. Развязал. Внутри была мазь — густая, тёмно-зелёная, с резким запахом, похожим на смолу и мяту одновременно.

Гуннар зачерпнул мазь двумя пальцами и аккуратно нанёс на ссадины. Боль вспыхнула — остро, коротко — и тут же отступила, сменившись холодным покалыванием. Потом он достал

из-за голенища чистую тряпицу — видимо, держал на такой случай — и обмотал ей ладонь. Одну, потом вторую. Туго, умело, как человек, который много раз перевязывал раны.

Всё это — молча. Ни одного слова, ни даже мычания. Только руки — большие, красные, в мозолях — делавшие точную, бережную работу.

Когда закончил, Гуннар выпрямился, кивнул — коротко, как кивают, закончив дело, — и ушёл к своему месту на канате.

Марья посмотрела на перевязанные ладони. Потом — ему вслед.

— Спасибо, — прошептала она, зная, что он не поймёт слова, но, может быть, поймёт голос.

Гуннар не обернулся. Но спину чуть расправил — так, как делают люди, которые услышали.

На середине пути Радомир вскинул голову.

— Тихо!

Все замерли. Марья, тяжело дыша, прислушалась. Сначала ничего — только шум порога и стук собственного сердца. Потом — тонкий, далёкий звук, похожий на птичий крик. Но это была не птица.

— Печенеги. На том берегу. Видят нас. — Варяжко произнёс это негромко, без тревоги, как произносят давно знакомое.

Марья посмотрела через реку. На противоположном берегу, на высоком обрыве, стояли всадники. Четверо или пятеро — отсюда трудно было разобрать. Маленькие лохматые лошади, всадники в кожаных доспехах. Один из них поднял руку — то ли приветствие, то ли угроза.

— Разведка, — бросил Свенельд. — Считают нас. Если нас мало, ночью переправятся.

— Нас семеро, — Мал проговорил это так, будто сам пытался убедиться.

— Восемь, — поправила Марья. Голос не дрогнул. Она сама удивилась.

Варяжко посмотрел на неё. Не усмехнулся — просто посмотрел. Потом повернулся к команде.

— Тянем дальше. Оружие под рукой. Ночью — двойная стража.

Они дотащили ладью до воды к закату. Марья упала на песок и лежала, глядя в небо, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Ладони пульсировали болью. Спина была чужой. Но она сделала это. Тянула наравне со всеми. И когда ладья соскользнула с последнего катка в воду, Мал хлопнул её по плечу — просто, без слов, как своего — и она чуть не заплакала. Не от боли, а от чего-то другого, чему не знала названия. Может, так чувствуют себя люди, которых впервые принимают.

Ночью печенеги не пришли. Может, их было слишком мало. Может, увидели, что команда вооружена и настороже. Варяжко сидел у костра до рассвета, положив топор на колени, и Марья, проснувшись среди ночи, видела его силуэт на фоне догорающих углей — неподвижный, как камень.

Она села рядом. Он не обернулся, но подвинулся, освобождая место.

— Не спится?

— Руки болят.

— Привыкнешь. — Помолчал. — Ну как тебе наша жизнь? Не жалеешь, что сбежала из тёплой подклети?

Марья посмотрела на свои ладони. В темноте не было видно крови, но она чувствовала каждую трещину на коже.

— Руки болят. Но здесь я чувствую, что живу. В скриптории я была… как та звезда, которая нарисована на бересте. Точка чернил. А здесь — настоящая.

Варяжко кивнул. Долго молчал, потом посмотрел туда, где за рекой скрылись всадники. Лицо его стало тяжёлым, старым.

— Видела их? Печенегов?

— Видела.

— Далеко были. Разведка. Но бывает и по-другому. — Он поворошил угли палкой. Искры взлетели и погасли. — Два года назад, здесь же, на порогах. Ладья Бориславова. Двенадцать человек. Тащили волоком, как мы. Вышли на них на середине пути, когда и назад не уйти, и вперёд не дотянуть. Человек сорок верховых. Стрелы, копья. Ладью бросили, ушли в лес — кто смог. Четверых убили, троих увели. В степь. Оттуда не возвращаются.

Он замолчал. Марья ждала. Чувствовала, что он скажет ещё — что-то тяжёлое, давнее, что ходит за ним, как тень.

— Отец твой… — начал Варяжко и остановился. Потёр лоб, будто слова застряли. — Ты ведь знаешь, как он ногу потерял?

— Мать говорила — в походе. В дружине.

— В дружине, да. Только не в бою. На обозе. Возвращались из Корсуни, с товаром. Он охранял. Печенеги вышли ночью, из балки. Тихо, как волки. Отец твой первым заметил — крикнул, поднял людей. Если бы не он — всех бы положили сонными. А так — отбились. Но стрела попала ему в колено. Костяной наконечник, кривой, — засел в суставе. Лекарь вырезал, но нога уже не согнулась. — Варяжко посмотрел на Марью. — Он не любит об этом говорить. Не из гордости. Из стыда.

— Из стыда? — Марья не поняла. — Он же спас людей.

— Спас. Но ходить не может. Для дружинника это — конец. Он не стрелу в колене носит, Марья. Он носит то, что после стрелы. Тишину. Дом. Ложки свои режет, а руки помнят меч. Ты думаешь, он молчит, потому что ему нечего сказать? Он молчит, потому что сказать — значит вспомнить. А вспомнить — больно.

Угли потрескивали. Марья сидела неподвижно. В голове вспыхнула картинка: отец, сидящий у окна, руки на коленях, пальцы перебирают деревянную стружку. Молча. Всегда молча. Она думала — он просто такой. Тихий. А он был тихий, потому что кричать было не о чем. Крик остался там, на берегу, в балке, откуда вышли волки с копьями.

— Я не знала.

— Теперь знаешь. — Варяжко помолчал. — Запомни этот день, племянница. Пороги — первое испытание. Река проверяет, кто ты. Если прошла — значит, хребет есть. Дальше будет море, а на море — другие правила. Там не сила нужна, а терпение. А потом — Царьград. И там третьи правила. У греков всё по-другому. Они улыбаются, когда ненавидят, и молчат, когда согласны. Не показывай слабость, но и не лезь на рожон. Учись слушать и смотреть.

— Дядя, а ты был в Царьграде много раз?

— Раз десять. И торговал, и воевал. Один раз чуть не остался — грек один предлагал место при дворце, охранником. Хорошие деньги. Но я не смог. Душно там. Стены кругом, и за каждой стеной — кто-то следит. — Он поворошил угли. — Империя сильна, но гниёт изнутри. Знаешь, как бывает с деревом? Снаружи — кора крепкая, листья зелёные. А внутри — труха. Ткни — и рассыплется. Греки такие. Мы для них варвары. Но без нашего мёда, наших мехов и наших мечей им не выстоять. Хитрые, умные, книг начитались. Но и мы не лаптем щи хлебаем.

Он замолчал. Угли потрескивали. Где-то на реке плеснула рыба — единственный звук в тишине, не считая дыхания.

— Спи, — велел Варяжко, подняв на неё глаза. — Завтра ещё два порога.

Марья легла, закуталась в овчину и закрыла глаза. Перед тем как уснуть, она подумала о матери. Там, в Смоленске, мать сейчас тоже не спит. Сидит у лучины, месит тесто — или не месит, а просто сидит и смотрит на дверь, в которую дочь больше не войдёт.

Потом она подумала об отце. О его руках, которые режут деревянные ложки. О колене, в котором сидел костяной наконечник. О тишине, в которой он прожил все эти годы. Тишине,

которую она принимала за равнодушие. А это была не тишина. Это была рана, которая не зажила, потому что заживать ей было некуда — всё вокруг напоминало о том, чем он был и чем стать уже не мог.

«Прости, матушка, — подумала Марья. — Прости, батюшка. Я вернусь. Обещаю. Только не такой, какой ушла».

Следующие два порога они прошли иначе.

Варяжко и Свенельд долго спорили у воды, разглядывая камни. Наконец Свенельд решил:

— Пройдём. Будило — не Ненасытец. Если держать левее и не зевать.

— А если зевнём? — не удержался Мал.

— Тогда не зевай, — отрезал Свенельд и встал к рулевому веслу.

Марья вцепилась в канат на корме, как велел дядя. Ладья вошла в поток, и мир перестал быть понятным. Вода ревела. Камни вырастали из пены — слева, справа, прямо по курсу. Свенельд орал команды, гребцы работали как одержимые, вёсла ломали воду. Ладью бросило боком, нос задрался, Марья увидела небо — серое, равнодушное — и подумала с ледяной ясностью: «Вот оно. То, о чём предупреждала мать».

Потом ладья рухнула в яму между волнами, вода хлынула через борт, окатила Марью с головой, и она наглоталась Днепра — холодного, песчаного, пахнущего камнем. Она кашляла, держась за канат, и канат резал ладони по тем же ранам, что были вчера, и боль была такой, что потемнело в глазах.

— Навались назад! — крик Свенельда.

Удар — днищем о камень. Скрежет. Ладья накренилась, бочка с мёдом поехала к борту. Гуннар перехватил её одной рукой — рявкнул что-то по-своему — и швырнул обратно.

— Левее! Левее, в бога душу!

Ещё один удар, мягче. Камень скрежетнул по борту, как нож по кости. И — тишина. Нет, не тишина, а другой звук: ровный, мощный, глубокий шум воды позади. Они прошли.

Марья разжала пальцы — не сразу, по одному, потому что их свело — и обнаружила, что сидит в луже на дне ладьи, мокрая насквозь, с берестой в волосах и кровью на ладонях. Мал сидел на скамье, опустив вёсла, и хохотал — нервно, взахлёб, как хохочут люди, только что избежавшие смерти. Радомир крестился. Гуннар невозмутимо отжимал рубаху.

Свенельд обернулся от рулевого весла. Посмотрел на Марью. И — она не поверила своим глазам — улыбнулся. Одним уголком рта, скупо, как всё, что он делал. Но улыбнулся.

— Жива. — Не вопрос. Утверждение.

— Жива, — откликнулась Марья.

Она посмотрела на свои руки. Содранная кожа, кровь, верёвочные ожоги. Совсем недавно эти руки выводили цифры гусиным пером на бересте, и самым большим страхом была клякса. Она прижала ладони к мокрой рубахе и засмеялась — тихо, одними губами. Руки были другими. И она — тоже.

Ниже порогов Днепр стал другим. Берега разошлись, опустились, поросли камышом. Течение замедлилось. Воздух потеплел, загустел, напитался запахом тины и полыни. Чайки летали низко, почти касаясь воды. Тишина стояла такая, что было слышно, как шуршит камыш на берегу.

Марья сидела на носу ладьи и смотрела вперёд. Ладони были перевязаны — мазь Гуннара сделала своё дело: кожа стягивалась, раны подсыхали, боль ушла в глубь, стала тупой и терпимой. Вечерело. Небо на западе розовело, а на востоке уже проступали звёзды.

Небесный Кол.

Марья нашла её сразу — как находят знакомое лицо в толпе. Маленькая, неподвижная, верная. Север. Она подумала: а ведь и правда — если знаешь, где север, знаешь всё остальное.

Юг — там, где Царьград. Восток — степь, печенеги, дорога к морю Хорасанскому. Запад — варяги, откуда пришёл Свенельд. Одна точка — и весь мир обретает порядок. Как цифра в колонке. Как итоговая сумма, от которой зависят все остальные.

Николай подошёл и встал рядом. Какое-то время молчали, глядя на небо.

— Знаешь, — начал он негромко, — в Царьграде у меня был сосед. Старый моряк, Костас. Он ослеп на старости лет. Совсем. Но каждый вечер выходил на порог и поднимал лицо к небу. Я спросил его: «Костас, зачем ты смотришь на звёзды? Ты же их не видишь». А он ответил: «Я их чувствую. Они греют. Не как солнце — по-другому. Они греют тем, что есть».

Марья подумала об этом. О человеке, который смотрит на то, чего не видит, и всё равно чувствует тепло.

— Это красивая история.

— Это правдивая история, — мягко поправил Николай. — Красивая — это когда выдумывают. А правдивая — это когда случается. И случается чаще, чем думаешь.

«Я прошла пороги, — подумала она. — Я тянула ладью, я видела печенегов, я чуть не утонула. Я не писарь. Я — часть этого пути. Я — здесь».

Позади, далеко, остался Смоленск. Мать, скрипторий, игуменья, исправленная цифра. Всё это казалось сном — не плохим, не хорошим, просто чужим. Сном, который видел кто-то другой.

Впереди было море.

Оно появилось на четырнадцатый день.

Сначала изменился воздух. Марья почувствовала это раньше, чем увидела, — как чувствуют перемену погоды старые кости. Ветер стал другим: влажным, солёным, тяжёлым. Запах тины сменился чем-то незнакомым — резким, йодистым, древним. Дышать стало одновременно легче и труднее.

Потом исчезли берега. Не сразу — они расходились медленно, как занавес, открывая всё больше воды, всё больше неба. Камыши поредели, пропали. Днепр разлился в широкую, мутную дельту, полную островков и отмелей. И наконец — Марья стояла на носу, вцепившись в резную конскую голову, — берега исчезли совсем.

Вода до горизонта. Во все стороны. Серо-зелёная, живая, дышащая. Волны — не речные, мелкие, а длинные, тяжёлые, пологие — поднимали ладью и опускали, поднимали и опускали, и Марья чувствовала это всем телом, как чувствуют сердцебиение.

Море.

Она стояла и смотрела, и не могла вдохнуть. Не от страха — от масштаба. В скриптории мир помещался в четыре стены. В Смоленске — в городские укрепления. На реке — между двумя берегами. А здесь границ не было. Небо упиралось в воду, вода — в небо, и между ними не было ничего, кроме ветра.

Радомир перекрестился — широко, размашисто. Мал присвистнул. Гуннар, к удивлению всех, снял шапку и поклонился — низко, до пояса, — и произнёс длинную фразу на своём языке. Свенельд перевёл коротко:

— Благодарит морского бога.

— Какого? — Радомир нахмурился с подозрением.

— Какого надо, — отрезал Свенельд.

Николай подошёл к Марье. Встал рядом, заложив руки за спину.

— Ну вот. Понт Эвксинский. Чёрное море. Теперь до Херсонеса — пять дней при хорошем ветре. А оттуда до Царьграда — ещё десять вдоль берега.

— Десять дней, — повторила Марья.

— Если погода не подведёт. — Он помолчал. — Красиво, правда?

— Страшно, — призналась Марья.

— Это одно и то же, — отозвался Николай и ушёл к своим тюкам.

Марья осталась на носу. Ветер трепал волосы, солёные брызги оседали на губах. Ладья шла на юг — парус поймал ветер, и вёсла отдыхали. Впереди, за горизонтом, за сотнями вёрст воды, лежал Царьград. Город, о котором рассказывал дядя. Стены до неба, храмы, хитрые люди, библиотеки, где считают звёзды.

И что-то ещё. Что-то, чего она пока не знала и не могла назвать, но чувствовала — как чувствовала солёный ветер на лице. Что-то ждало её там.

Она подняла голову. Небо над морем было огромным — больше, чем над рекой, больше, чем над степью, больше, чем всё, что она видела. И звёзды в нём были другими. Не тусклыми городскими, не яркими речными, а какими-то… близкими. Будто протяни руку — и дотронешься.

«Я иду к тебе, Царьград, — подумала Марья. — Что ты мне покажешь?»

Ладья шла на юг. Волны мерно били в борт. Чайки кричали, и крик их был похож на смех — или на предупреждение. Но Марья больше не боялась. Впереди было море. Впереди был Царьград.

Впереди было всё.

III

Она увидела его на рассвете — и не поверила.

Ладья шла по Босфору, узкому, как горло кувшина, и берега стиснули воду с обеих сторон: справа — холмы, поросшие тёмными кипарисами, слева — каменные стены, башни, крыши. А впереди, там, где пролив расширялся и вливался в бухту, стоял город.

Нет. Не город. Города Марья видела — с деревянными стенами, теремами на горе, крышами подола. То, что открылось перед ней, было чем-то другим. Как если бы гора выросла из воды и покрылась золотом, мрамором и людским муравейником. Стены тянулись вдоль берега — серые, массивные, с зубчатыми башнями, — и казались не построенными, а выросшими из земли, как скалы. За стенами поднимались купола — один, два, десять, — и самый большой из них, огромный, невозможный, висел в воздухе, как второе солнце, ловя первые лучи рассвета и отбрасывая золотые блики на воду.

Николай подошёл к борту, встал рядом.

— Святая София. Храм Премудрости Божией. — Голос звучал ровно, привычно, но рука, указавшая на купол, чуть дрогнула. — Сто двадцать локтей в высоту. Говорят, когда его строили, император Юстиниан сказал: «Я превзошёл тебя, Соломон». Пятьсот лет назад это было.

Пятьсот лет. Марья попыталась представить и не смогла. Пять веков назад не было ни Смоленска, ни Киева, ни дедов её дедов. А купол уже стоял.

— Неужели это всё построили люди? — голос прозвучал тихо, почти жалобно, и она сама не узнала его.

Николай чуть наклонил голову.

— Люди. Очень богатые и очень упрямые люди.

Дядя Варяжко стоял рядом, скрестив руки на груди. Лицо его было непроницаемым, но Марья заметила, как он слегка сощурился — так он щурился всегда, когда хотел скрыть чувства.

— Это только снаружи. Подожди, пока внутрь войдёшь. Там ещё хуже.

— Хуже?

— Красивее. Настолько, что злость берёт.

Он отвернулся к воде, и Марья поняла: разговор окончен, но слова останутся — будут ждать, пока она увидит сама.

Гавань Золотого Рога была похожа на кипящий котёл. Корабли стояли так тесно, что по их палубам, казалось, можно было пройти от одного берега до другого, не замочив ног. Ладьи, галеры, тяжёлые купеческие корабли, рыбачьи лодки — все вперемешку, все в движении. Крики на десяти языках сливались в один ровный гул, и Марья различала в нём обрывки славянского, варяжского, арабского и ещё чего-то гортанного, незнакомого. Мир говорил разом, не заботясь о том, слышат ли его.

Ладья Варяжко втиснулась между двумя пузатыми кораблями с полосатыми парусами. Не успели привязать канат, как на причале появился чиновник — тонкий, бледный, в длинном тёмном кафтане с золотой вышивкой на рукавах. За ним шагали двое помощников с восковыми табличками и стилосами и четверо солдат в кольчугах.

Николай наклонился к ней, едва шевеля губами:

— Младший коммеркиарий. Не спорь с ним. Улыбайся и кивай.

Но коммеркиарий подошёл не к ним. Он направился к широкой ладье, стоявшей впереди — болгарской, судя по резному коню на носу. Там, на причале, уже толпились люди: трое купцов, слуги с тюками, седобородый старик, державший в руках кожаный свёрток. Чиновник остановился перед стариком и заговорил по-гречески — быстро, резко, с тем особым выражением, которое Марья уже научилась узнавать: так говорят с теми, кого считают ниже.

Старик-болгарин ответил по-гречески — коряво, запинаясь, путая падежи. Подал свёрток. Коммеркиарий развернул, прочёл, поморщился. Бросил что-то одному из помощников. Тот записал, а чиновник повернулся к болгарину и произнёс длинную фразу, указывая на ладью.

Марья не понимала слов, но видела жесты. Коммеркиарий ткнул пальцем в грамоту, потом — в болгарина, потом — за спину, в сторону моря. Смысл был ясен без перевода: что-то не так, убирайся.

Болгарин побагровел. Заговорил громче, горячее, стал показывать на тюки. Один из его спутников — молодой, крепкий — шагнул вперёд, но старик остановил его рукой.

Марья подалась к Николаю.

— Что происходит? — шёпотом.

Тот прислушался, склонив голову набок.

— Грамота не заверена нужной печатью. Коммеркиарий говорит, что без второй печати — от эпарха города — товар не может войти в город. Болгарин клянётся, что в прошлом году такого не требовали.

— А что было в прошлом году?

Николай усмехнулся, не разжимая губ.

— Видно, другой коммеркиарий. Каждый чиновник — новый порядок. Так здесь устроено.

Коммеркиарий отвернулся от болгарина, давая понять, что разговор окончен. Старик стоял, сжимая свёрток побелевшими пальцами. Его молодой спутник дёрнулся было, но старик бросил ему что-то тихое, жёсткое — и тот замер, стиснув кулаки.

Марья смотрела. Внутри поднималось что-то горячее, знакомое — то чувство, которое накатывало, когда мать Феодосия отчитывала младших писцов за помарки, которых не было. Несправедливость. Не просто обида одного человека — а несправедливость, встроенная в порядок вещей, как ржавый гвоздь в доску. Гвоздь можно вытащить, но дырка останется.

«Они не потому так с ним, что он виноват. А потому, что могут».

Рядом с чиновником возник переводчик — невысокий грек с живым, подвижным лицом и быстрыми тёмными глазами. Он заговорил по-славянски — чисто, почти без акцента, только слишком быстро, точно боялся, что слова кончатся раньше, чем он успеет их произнести:

— Добро пожаловать в Константинополь, город императора Алексея. Меня зовут Фока, я толмач при портовой службе. Прошу предъявить грамоту от вашего князя и опись товаров.

Варяжко молча достал из-за пояса кожаный свиток и протянул. Коммеркиарий развернул его, прочитал, поднял бровь, прочитал ещё раз. Что-то сказал по-гречески.

Фока чуть понизил голос:

— Спрашивает, сколько людей в отряде и есть ли оружие сверх личного.

— Семеро мужчин, одна женщина. — Варяжко рубил фразы коротко, без лишнего. — Оружие — личное: топоры и ножи. Мечей нет. Товар: мёд, воск, мех.

Фока перевёл. Коммеркиарий кивнул, сделал пометку на табличке. Потом посмотрел на Марью — цепко, оценивающе — и бросил вопрос, не глядя на толмача.

— Спрашивает, кто девушка.

— Племянница. Помогает с учётом товаров.

Коммеркиарий снова поднял бровь. Марья почувствовала, как краска приливает к щекам, но не опустила глаз. Вместо этого она достала из котомки свои записи — берестяной лист, на котором аккуратным почерком были выписаны все бочки, тюки и мешки с указанием веса и примерной цены.

Она протянула лист Фоке:

— Вот. Полная опись. Можете сверить.

Фока взял бересту, пробежал глазами, и что-то мелькнуло в его лице — то ли удивление, то ли уважение. Перевёл чиновнику. Тот впервые посмотрел на Марью не как на помеху, а с чем-то похожим на интерес.

Фока обернулся к ней с едва заметной улыбкой:

— Говорит, что девушка-счетовод — это полезно. Греки ценят точность в торговле.

— Передай, что мы тоже.

Марья ответила ровным голосом, не отводя взгляда от чиновника.

Фока хмыкнул и перевёл. Коммеркиарий — Марья готова была поклясться — едва заметно усмехнулся. Что-то в этом мимолётном движении губ обнадёживало: значит, за чиновничьей маской ещё оставался человек.

Потом началось ожидание. Марья думала, что проверка — это главное, а дальше можно идти. Оказалось — только начало. Нужна была ещё одна печать — от эпарха города. Нужно было заплатить коммеркий — торговую пошлину — а для этого товар должен был осмотреть и оценить старший коммеркиарий, другой чиновник, которого ещё не было на причале. Нужно было получить бирку — деревянную плашку с выжженным числом, — без которой нельзя было выгружать товар. И за каждым из этих действий стояла очередь.

Варяжко сел на борт ладьи, достал кусок жёваной смолы — привычка, подхваченная у варягов, — и сунул за щёку.

— Это надолго. Привыкай. — Он прищурился на солнце, жуя размеренно, как человек, давно примирившийся с ожиданием. — Царьград — город, который любит ждать. Они тебя заставят ждать, потому что могут, а потом возьмут пошлину за то, что ты ждал.

Марья огляделась. Причал тянулся на сотни шагов, и повсюду происходило одно и то же: купцы стояли, сидели, жевали лепёшки — и ждали. Рядом с ладьёй Варяжко пришвартовался армянский корабль — тяжёлый, низкий, с грузом медной посуды. Армяне — смуглые, усатые, в шерстяных шапках — спорили между собой и поглядывали на солнце, которое ползло к зениту. Чуть дальше — сирийцы, с тюками ткани, завёрнутыми в промасленный холст. Ещё дальше — венецианцы, с узкой галерой, чей нос был украшен резным львом. Все ждали. Ожидание было здесь такой же частью порядка, как печати и пошлины.

Старший коммеркиарий явился к полудню. Маленький, потный, с печатью на цепочке и выражением человека, которого весь мир утомил до крайности. Он шёл вдоль причала медленно, останавливаясь у каждого корабля, и Марья видела, как купцы подносили ему то монету, то мешочек — незаметно, в ладонь, с поклоном. Коммеркиарий принимал или не принимал — без видимой системы.

— Это взятка? — тихо спросила Марья.

Фока, стоявший рядом в ожидании конца процедуры, чуть склонил голову и понизил голос:

— Это… ускорение. Можно и без неё. Но тогда будешь ждать до завтра. Или до послезавтра. — Развёл руками. — Зависит от настроения.

Варяжко подал чиновнику серебряную монету — одну, не две, не три. Марья заметила: дядя знал точную цену. Не больше и не меньше. Старший коммеркиарий взял, кивнул, поставил печать на бирке. Вся процедура заняла двадцать ударов сердца.

Болгарин-старик всё ещё стоял на причале. Его так и не пропустили. Молодой спутник сидел на тюке и смотрел в воду. Марья отвела глаза — смотреть было больно.

Предместье Святого Маманта располагалось за пределами главных стен, на берегу Золотого Рога. Это был целый квартал для чужеземных купцов: каменные дома в два этажа, склады, маленькая церковь, колодец во дворе. Не роскошно, но чисто и крепко — так, как строят люди, привыкшие принимать чужаков: без любви, но с расчётом. Стены белёные, полы каменные, окна узкие — шире, чем в скриптории, но всё равно словно город не доверял гостям лишний свет.

Во дворе было людно. У колодца стирали бельё две грузинки — широкобёдрые, громкоголосые, хохотавшие так, что воробьи разлетались с крыши. Рядом, у каменной жаровни, армянин с кривым носом жарил лепёшки на круглом железном листе, и запах — масло, мука, что-то травяное — стоял такой, что у Марьи свело живот. После многих недель солонины, каши и сушёной рыбы этот запах казался невозможным, как музыка после долгой тишины.

Жаровня была общей, и к ней выстроилась маленькая очередь: сирийский купец грел похлёбку в медном горшке, за ним ждал молодой грузин с куском мяса на палке. Разговаривали жестами и обрывками греческого — общего языка, на котором все коверкали слова по-своему. Двор был перекрёстком, где чужие друг другу люди ненадолго становились соседями.

Марье выделили угол в общей женской комнате на втором этаже. Комната была длинной, узкой, с четырьмя лежанками вдоль стен и одним окном, выходившим во двор. Стены — голый камень, но чистый, выбеленный. На полу — тростниковые циновки, не новые, но без грязи. У дальней стены стояла деревянная полка с глиняным кувшином и тазом для умывания.

Соседками оказались жена болгарского купца — грузная женщина с золотыми серьгами и привычкой громко вздыхать во сне — и две арабки в тёмных покрывалах. Болгарку звали

Цвета, и, по счастью, говорила она на языке славянском, столь близком к русской речи, что понимать её не составляло труда. Этим она тут же и воспользовалась: ещё не успев распаковать вещи, сообщила Марье, что это её четвёртый приезд в Царьград, что в прошлый раз у неё украли серебряную брошь, что мужчины — это наказание Божие, а болгарское масло лучше греческого, и пусть кто угодно попробует спорить.

Арабки молчали. Общались между собой шёпотом и на Марью не смотрели вовсе. Одна была старше — может быть, мать, — сухая, прямая, с тёмными руками, испещрёнными узорами из хны. Вторая — моложе, почти девочка, с огромными глазами и тонкими пальцами, которые постоянно двигались, теребя кисточку покрывала.

Марья положила котомку на лежанку, села и огляделась. Каменные стены, чужие люди, чужой город за окном. Ещё месяц назад она сидела на лавке в подклети церкви Святого Климента и выводила пером цифры. Ладони, покрытые мозолями и шрамами от верёвок, казались чужими — руки писца успели стать руками путешественницы.

Она достала из котомки отцовскую ложку — резную, лёгкую, из светлого дерева — и положила рядом с подушкой. Привычка. Глупая, детская. Но ложка пахла домом — смолой и дымом, — и от этого запаха что-то отпускало внутри, как отпускает тугой узел, когда потянешь за правильную нить.

Молодая арабка смотрела. Марья поймала её взгляд — быстрый, любопытный, тут же спрятанный. Потом арабка снова посмотрела — на ложку. Протянула руку, коснулась пальцем воздуха рядом с ней. Не ложки — воздуха. Спрашивала разрешения.

Марья кивнула. Арабка взяла ложку, повертела, посмотрела на резьбу — переплетённые ветви, мелкие звездочки, — и улыбнулась. Улыбка была такой неожиданной — яркой, открытой, совершенно детской, — что Марья улыбнулась в ответ, не думая.

Арабка показала на ложку, потом на Марью, потом — жест руками, как будто что-то режет. «Ты сама вырезала?»

Марья покачала головой. Показала в сторону — далеко. Потом сложила руки домиком. Дом. Потом — жест: человек сидит, режет. «Кто-то дома».

Арабка кивнула. Понятно. Потом полезла в свой узел и вытащила маленькую деревянную шкатулку, крашенную синей и красной краской, с инкрустацией из кусочков перламутра. Открыла. Внутри лежала серебряная заколка — простая, тонкая, с единственным завитком на конце.

Арабка показала на заколку, потом — тот же жест: далеко, дом, кто-то сидит.

Они посмотрели друг на друга и засмеялись — тихо, почти беззвучно, прикрывая рты ладонями, чтобы не разбудить старшую арабку, которая уже дремала, привалившись к стене. Смех этот был не от слов, а от узнавания — той мгновенной, необъяснимой близости, которая случается, когда чужой человек вдруг перестаёт быть чужим.

«Я не знаю ни слова по-арабски, она — ни слова по-славянски. Но мы только что поговорили. И поняли друг друга лучше, чем иные соседки, живущие на одной улице десять лет».

Арабку звали Зайнаб — это она показала, ткнув себя в грудь. Марья назвала себя. Зайнаб попробовала повторить — получилось «Марийя», с длинным «и» и мягким окончанием. Марья попробовала «Зайнаб» — вышло почти правильно, и Зайнаб захлопала в ладоши, блеснув зубами.

«Я в Царьграде. И что теперь?»

Ответа не было. Но тишина уже не пугала. Она встала и пошла вниз, к дяде.

Фока оказался из тех людей, которые не могут молчать, как рыба не может не плавать. Варяжко отпустил Марью осмотреть ближайшие улицы — «Далеко не ходи, с толмачом держись, к вечеру будь здесь» — и Фока повёл её по городу, не переставая говорить.

Они вышли на широкую, мощённую камнем улицу, и Фока обвёл перспективу рукой, как хозяин, оглядывающий двор:

— Это Меса. Главная дорога. Идёт от Золотых ворот до дворца. По ней ходят процессии, когда император празднует победу. Или когда хоронят. — Махнул в сторону. — Тут всё рядом: победа и похороны.

— А ты давно тут? В Царьграде?

— Всю жизнь. — Фока шагал быстро, лавируя между прохожими, как лодка между камнями. — Родился в Пере, через бухту. Отец был рыбак, мать — прачка. Я с детства болтал — мать говорила, что я заговорил раньше, чем пошёл. — Усмехнулся этому, как старой шутке, которая давно перестала быть шуткой. — Когда мне было десять, сосед-армянин научил меня своему языку за то, что я таскал ему воду. Потом я выучил болгарский — у причала, от мальчишек. Потом славянский — от русичей, которые каждый год приходили. Потом арабский, но его плохо — слишком много звуков, горло болит.

Марья шла рядом, стараясь не отставать от его торопливого шага.

— Сколько же языков ты знаешь?

Он почесал затылок, загибая пальцы на ходу:

— Шесть. Греческий, латынь, славянский, болгарский, армянский, арабский. Латынь — хуже всего. Её тут мало кому нужно, но иногда приплывают франки, и тогда без неё никак. Платят хорошо, но разговаривать с ними — как жевать кожу.

Марья шла и слушала. Фока говорил без остановки, но это не было пустой болтовнёй. Каждая фраза содержала что-то — наблюдение, деталь, кусочек города, — как мозаика, из которой постепенно складывалась картина. И Марья поняла: он не болтает — он думает вслух, а мир служит ему поводом.

— Вон там, — он ткнул в боковую улочку, — живёт мой тесть. Чинит обувь. Дочь его — моя жена — не разговаривает со мной по вторникам, потому что по вторникам я прихожу домой поздно. А прихожу я поздно, потому что по вторникам приходят корабли из Трапезунда, и капитаны — понтийские греки — говорят на таком диалекте, что даже я разбираю через слово. Пока разберу — ночь. Пока дойду — жена спит. А утром — обиженная. — Развёл руками. — Вот так и живём: империя стоит на языках, а языки разрушают семьи.

Марья рассмеялась — впервые за этот день, открыто, от души.

— А дети есть?

— Трое. — Лицо Фоки на мгновение стало мягким, и Марья увидела под болтливой маской обычного усталого человека. — Два сына и дочь. Старший хочет стать солдатом — глупость, конечно, но попробуй скажи мальчишке, что солдатская жизнь — это не слава, а грязь и скука. Средний тихий, любит считать. Может, в налоговую службу пристрою. А дочь… — Он помолчал, и молчание это было теплее любых слов. — Дочь похожа на меня. Болтает без умолку. Жена говорит, что это наказание.

Марья шла и смотрела. Глаза не успевали за городом — он менялся каждые десять шагов. Мраморные колонны портиков, увитые плющом. Лавки, распахнутые на улицу: шелка, пряности, глиняная посуда, ювелирные украшения, книги. Целые лавки, полные свитков и толстых кодексов в кожаных переплётах. Марья замедлила шаг, но Фока потянул её за рукав:

— Потом, потом. Сначала площадь.

Площадь была огромной. В центре стоял обелиск — каменный столб из розового гранита, покрытый непонятными знаками.

Фока кивнул на него небрежно, засунув большие пальцы за пояс:

— Египетский. Тысяча лет ему, а может, больше. Привезли, поставили, стоит. Греки любят чужое ставить у себя и говорить: «Это наше».

— А ты разве не грек?

Покосился на неё — быстро, с усмешкой, блеснувшей в уголках глаз:

— Грек. Потому и знаю.

Мимо прошёл караван верблюдов — Марья отшатнулась. Она видела лошадей, коров, коз, собак — но это существо, горбатое, надменное, жующее что-то с выражением бесконечного презрения на морде, было из другого мира. Погонщик — смуглый, в белой чалме — покосился на неё и крикнул что-то гортанное.

Фока перевёл невозмутимо:

— Говорит: «Не стой на дороге, дура». Но он араб, они всем так говорят. Не обижайся.

Дальше был рынок.

Не подольский торг — тот казался теперь деревенской ярмаркой. Здесь торговали всем, что существовало в мире, и многим, чего Марья не могла даже назвать. Ткани такие тонкие, что сквозь них видно руку. Пряности, от запаха которых щипало глаза. Стеклянные сосуды, прозрачные, как вода. Птицы в клетках — яркие, невиданные, кричащие на разные голоса. Марья вертела головой и чувствовала, что глаза уже не вмещают всего, — мир переливался через край.

Но рынок был не просто скопищем лавок. Марья заметила это не сразу, а постепенно, как замечают узор в хаотичной, на первый взгляд, мозаике. Лавки были выстроены не как попало, а по рядам, и каждый ряд — свой мир. Шёлковый ряд — только шелка, и продавцы в нём были одеты одинаково, в тёмно-синие кафтаны, как будто принадлежали к одному братству. Рядом — пряный ряд, и здесь воздух был густым, почти осязаемым: корица, перец, гвоздика, шафран, что-то незнакомое, жёлтое, острое. Потом — ряд серебряников, где монеты лежали на чёрных тканях, разложенные по стопкам, и менялы сидели с весами, взвешивая каждую. Порядок прятался внутри пестроты, как скелет внутри тела.

— Почему они отдельно? Шёлк от шёлка, серебро от серебра?

Фока замедлил шаг, давая ей осмотреться.

— Ремесленные братства. Каждый товар — своё братство. У них свои правила, свои старшины, свои цены. Нельзя просто прийти и торговать чем хочешь — нужно разрешение. Нужно быть в братстве. Нужно платить взнос, соблюдать устав, торговать в своём ряду и нигде больше.

— А если не соблюдать?

— Штраф. Или закроют лавку. Или хуже. — Пожал плечами. — Империя любит порядок. Порядок стоит денег.

Марья смотрела и пыталась понять. Один торговец — сириец, судя по тюрбану, — раскладывал на прилавке стеклянные бусы, и Марья видела, что рядом с ним стояли точно такие же бусы у другого торговца, но цены были разные. Сириец продавал дешевле. К нему подошёл старшина ряда — толстый грек в засаленном фартуке — и что-то сказал тихо, сквозь зубы. Сириец выслушал, побледнел и молча поднял цену.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.